



Владимир Владимирович Личутин

Сон золотой (книга переживаний)

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174469
В.Личутин Последний колдун: Москва; 2008
ISBN 978-5-88010-207-6*

Аннотация

«... Откуда выплеснулось такое длинное вступление, вроде бы совсем лишнее, постороннее для моей „книги переживаний“, никоим боком не приносящее к ней, – не объяснить... Ведь речь-то пойдет о моих родителях, о их любви.

Пробовал начать с описания родовой избы (как и полагается в солидных мемуарах), того гнезда, в котором я однажды вылутился из материной родильницы и открыл на Божий свет глазенки; бабушкин дом стоял в верхнем конце Окладниковой слободки (города Мезени), по улице Первомайской, о край пространного, бесконечного болота, переходящего за речкой Пыей в Малоземельскую тундру. Выпрыгнув из окна можно было при великом старании убраться по северным моховым палестинам аж до Карского моря, на гибельный край белого света... »

Содержание

Вместо пролога	4
1	8
2	15
3	19
4	23
5	26
6	34
7	40
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Владимир Личутин

Сон золотой

(книга переживаний)

Вместо пролога

Писатели – народ странный, ну прямо дети; жить с ними трудно, ибо в каждую щель лезут со своей указкою, но и без них нельзя. Свою внутреннюю язву «дражнят» в упоении и невольно этой чесоткой заражают многих. Знать, для какой-то цели Бог наслал их на землю вместе с грехами, слабостями, шалостями и весьма сомнительными достоинствами, которые, однако, перевешивают все их недостатки. Вот, вроде бы, и не сеют они, и не пашут, балуются со словами и буквами, бессмысленно истрачивая драгоценную жизнь, но эта хитрая умственная игра с Богом и дьяволом исполнена такого непонятного вещаго смысла и такого притягательного, обавного чувства, что за литераторами, как слепые за поводырями, мы охотно тащимся, словно зачумленные иль опоенные «мухомором», и в этом наваждении порою готовы свалиться в яму... Но ведь писатели и сами-то походят на нищую братию, на калик переходящих и, уцепившись за идею учительства и за чувство превосходства своего, как за «вервь непроторженную», готовы в любую минуту, поддавшись человеческой беспомощности и унынию, с повязкою на глазах взмолиться к Господу: «И кто нас оденет, обует, и кто нас теплом обогреет...» Баюнки и обавники, спасители человечества и искусители, учителя и духовники, страдальцы и чревоушители, дети Христа и спосыланники «не наших», – сколько всего густо и неразборчиво понамешано в этой породе... К ней по завещательной и неисповедимой судьбе принадлежу и я...

А по складу письма сразу виден сочинитель: иль гордец он, иль простец, иль на дуде игрец, самовлюбленный он, иль Богом удивленный, кто всякий смысл на небесах прочитывает.

Одни пишут трудно, измощая себя по ночам, изнуряясь кофеем, вытягивая из головы строки, как собственные мозговые извилины, свою судьбу они видят как жертвенную, необыкновенную и тем невольно гордятся собою, как Божии посланники... (Федор Достоевский). Другие же сочиняют, как на дудке поют, будто в горле завелась серебряная горошинка, и вот, запрокинув голову, они словно бы считывают стихиры с неведомых нот, что развешаны меж облак... (Сергей Есенин).

Сергей Залыгин, например, писал роман кусками, не зная, куда выведут они, в какие дебри, после раскладывал исписанные страницы на полу, как игральные карты для пасьянса, и ползая на коленях, наводил в этой путанице сюжетные концы. Залыгин был инженерного ума, рационального склада, вот и строил роман, как натуралист-дарвинист, вырешивая людские судьбы через математическую задачу.

Одни всю жизнь переписывают уже однажды сотворенное, в этой переделке находят болезненное удовольствие, похожее на мазохизм, пытаются дважды войти в одну реку, повторить пережитые чувства (Леонид Леонов).

Другие пишут сразу набело, вытягивают строку, как шелковую нить шелкопряда, и уже никогда не возвращаются к тексту, то ли стыдясь его, то ли боясь повториться.

Виктор Астафьев порою писал в день по пятьдесят страниц и более, как бы освобождаясь от тяжелой сердечной гнетей, а разрешившись от бремени, годами переплавлял словесный хаос, просеивал от шелухи через частые решета. Шутник и балагур, порою матерщинник, пересмешник и злоязычник, с какой-то однобокой желчной памятью, – на письме

Виктор Петрович был необыкновенно нежен, чист и романтичен. Он прирос к каждой истинно русской душе своей простонародностью, ароматностью, полнозвучностью слова...

Лев Толстой переделывал тексты по десятку раз, его корявую руку не мог понять никто, кроме супруги. Само писание, чувство слова, течение мысли на бумаге доставляли ему наслаждение, похожее на любовь к женщине, лошадям, вину и картам. Плодовитость графа во всем была необыкновенна (уже сто лет черновые варианты Толстого – хлеб для вечно несытых литературоведов).

Девиз Олеши – «Ни дня без строчки». Но накуковал лишь два тома.

Василий Белов (по его признанию) садится за письменный стол с чувством неизъяснимой радости.

Александра Куприна жена привязывала к стулу, чтобы он исполнил свой дневной урок.

Кто-то сочинял на ресторанной салфетке, кто-то на лядвии любовницы, кто-то с кокоткой на коленях, в вагонном купе, в горячей ванне, на дружеской попойке, в землянке, перед террактом, на пересылке по этапу, в тюремной камере, в ссылке, «на шарашке», в эмиграции, в шалаше, в Кремле, на супружеском ложе с чашкою крепкого кофию... Магнат и табачный король, Александр Потемкин, для литературных трудов выстроил дом.

Кто-то пишет лишь перьевой ручкой, полагая, что все душевное и духовное из груди на бумагу переливается на бумагу лишь через мозолистые подушечки пальцев. Это наивное заблуждение дает им право смотреть с чувством превосходства на тех, кто работает на машинке или компьютере. Для них это «поврежденные», неистинные литераторы, – всего лишь ремесленники (в том числе и «аз» грешный).

Валентин Распутин пишет тонко зачиленным карандашом и настолько мелко, что буквы-блошки его надо прочитывать через мелкоскоп. Они смиренны и покорны авторской воле, не скажут, и не городят огорожи. Такая манера позволяет, наверное, постоянно держать ум в напряжении, а сердце в узде.

Строка Александра Проханова похожа на кардиограмму и европейские готические башенки.

Мой отец оставил в школьной тетради всего лишь три странички фантастического романа. Почерк каллиграфически-изысканный, этакое писарское летучее гусарство с хвостиками и прочерками. Так зачастую пишет очень страстный, чувственный человек, сознательно утесняющий в себе всякую распушенность и несдержанность. Для него превыше всего «орднунг», долг и честь.

Многие советские литераторы, не имея приличного жилья, писали на кухне, на подоконнике, в ванной, порою и в туалете. Такая прижимала нужда и коммунальная стесненность.

Иные писатели, начиная произведение, знают, чем закончится оно. Вся интрига продумана, отступления от плана незначительны.

Другие же, подхвативши первую строчку, настроившись на небесную музыку, пишут, как Господь Бог направит, и каждое слово у них в лыко, нет никакой промешки и унылых длиннот, а рука спотыкается лишь тогда, когда все сказано, и любой звук будет уже лишним, разрушит симфонию текста. Для этого нужен особый редкий талант, когда ничего не убавить и не прибавить, когда литератор пишет, как дышит, он сродни изустному народному творчеству и обладает природной мерой.

...Я знал одну мастерицу из Вологодской области (к сожалению запомнил фамилию), что на краснах (ткацком стане) ткала из тряпок не половики и дорожки, но художественные картины, и держа в голове весь сюжет, тянула месяцами это полотно длиною метров пять и ей нельзя было ошибиться, что-то подправить, но надо было постоянно держать в голове в мельчайших подробностях не только перспективу, содержание работы, десятки баб и мужиков, деревенскую гулевую среду, в которой идет праздник, но и блюсти природную

меру, характеры, поведение, выстраивать уличную сцену, – а это ох как трудно, если голова гармониста (к примеру) состоит из одного тряпошного кукиша, на который надвинут картуз, но этот кляп из цветной покрывки иль лоскута, удивительно точно выражал не только физиономию гуляки, но и его нрав и норы, то сосредоточенное самохвальство и достоинство, кое присуще лишь сельскому музыканту, которого по принятому на деревне обычаю обхаживают все девицы – хваленки. Старушка, бывшая больничная сиделка, стала ткать картины, выйдя на пенсию, в семьдесят лет, и скоро так преуспела в своем необычном таланте, что все ее работы разъехались по музеям страны... Помнится, я спросил ее, дескать, как это делается? И она ответила: «Не знаю... Все как-то само собой идет».

Духовная, эстетическая сторона дела необъяснима и непонятна даже мастерице... Я гладил эту картину из тряпок и поражаюсь неисследимой глубине русской души.

Долго можно толковать о писательском ремесле, той самой таинственной кухне, на которой в алюминиевых кастрюлях и чугуниках варятся «шедевры», о которой так любят сплетничать из «передней» литературы, подглядывая в замочную скважину минувшего, перетряхивать семейный быт, попойки, любовниц и любовников, болезни, недостатки, скверность характера, поступки, замысловатые колени отношений, – судачить о всем том глубоко личном, интимном, что вроде бы близко к писательству, может и прилегает каким-то боком к нему, опосредованно намекая на изюминку в человеке, но, оказывается, никак не раскрывает секрета, происходящего на писательской кухне, всех приправ, качества и аромата «художественного варева». Ибо все это только плотское, телесное, физиологическое, – о чем подглядывают, а духовное, душевное объяснению и толкованию не поддаются, ибо в них мало земного, но много небесного, что связано с Богом. Все вроде бы понятно: вот взял беллетрист стило, писало, гусиное перо, шариковую ручку, иль окунул стальную «лягушку» в непроливашку, нажал клавишу печатной машинки или компьютера, и чувство, мысль писателя, возникнув в глубине сознания, разродились в виде бегучей строки. Ну и что...? Суть так глубоко зарыта, что не докопаться до нее, ибо мы не знаем, что такое мысль, где ее жилище, каким образом она одевается в личину, наряжается в словесные образы. И вообще, в голове человека она обитает, иль считывается с невидимого экрана, иль нашептывается на ухо? ...А что такое слово?... Откуда оно берется, где хранится его энергия и куда девается, а может в небесных «облаках» и озерцах скапливается до времени? ...Все ремесло лежит на поверхности, орудия его крайне просты (если нет рук, можно писать и зубами), но и все, слава Богу, необъяснимо, и оттого притягательно, завораживающе, словно блуждаем мы в густом непроливаемом тумане, похожем на свинцовую стену, сквозь которую не проткнуться никогда. Как бы мы ни бились лбом... Мы верно знаем, как зачинается и рождается дитя, но как его судьба запечатана в крохотном семени, каким образом сгущена вся история его вместе с чередой предков, – вот этого нам не поверит никто. И во всем том, что я припомнил о писателях, конечно больше мистики, суеверий, досужих причуд и старинных примет, – ибо все это лишь крутится вокруг необычных способностей добывать «хлеб духовный», прилежит к ним, принадлежит им, но никак не объясняет их. Случается порою, что талант, этот дар Божий, бывает ниспослан человеку невероятно скучному, невыразительному во всех отношениях – в судьбе и облике, и в поведении, и в качествах натуры – этакому пресному «человеку в футляре», и как бы ты ни крутил его судьбу, как бы ни вымывал из «глины его жизни» интригующий образ, а получается лишь обычный кухонный человек, приодетый в чужое нарядное платье... Область духа не подвластна нашему пониманию. Где плоть сопрягается с духом – там все неясно, все загадочно. Там религиозная мистика. А мистика – основа правды и сама правда.

Иной литератор напишет одну работу, порою чрезвычайно интересную, как бы вскрикнет, изумясь красоте матери-сырой земле, удивясь своему неожиданному таланту, а после и замолкнет, будто захлебнется горлом от переизбытка напояемого луговыми травами воз-

духа, и больше никогда не раскроет рта, прозябая длинную жизнь, и тайно презирая тех, кто упорно сидит за черниленкой (Андрей Скалон «Живые деньги»).

... Другой же пишет и пишет, страдает непонятный урок, словно бы впрягшись в ломовую телегу, сам себя изнуряет в тесном хомуте, натирает холку, не видя белого света, заключив себя в добровольную темничку. Борис Бондаренко, уже тяжело больной, затворился в глухой деревнюшке в старую изобку в три окна, и глядя в заиленное от дождя иль занесенное пургой стекло, упорно вершил роман в сто печатных листов и умер за столом от рака за последними его страницами. Что за неволя заставляла спешить, изнурять себя, что за наваждение царевало над ним, кто пригнетал на работу, какая невидимая рука вела и поддерживала его дух в мучительные минуты, когда от боли ссыхалась, изнемогала его утробушка. Такая судьба была прописана Бондаренко от рождения, и он исполнил ее беззаветно, а другого объяснения не сыскать. Дух и плоть боролись за человека и нечем, кто кого оборол в этом трагическом поединке... Какое-то роковое, тяжелое, но и победительное заключение жизни...

Пятилетняя девочка Даша, дочь нашей приятельницы, однажды спросила у церковного старосты: «Бог придет?» – «Обязательно придет», – ответил он. «Когда Бог придет, то позвоните, пожалуйста, моей маме». – «Обязательно позвоню», – пообещал церковный староста.

Мне думается, что Борис Бондаренко и писал в терпеливом ожидании Бога, может и чувствовал его присутствие за окнами, на сиротской улице, заросшей топтун-травой, ожидая всем сердцем, когда скрипнет похилившееся крылечко, отпахнется дверь, и в пустынное невзрачное жило войдет Он. Затворник опустится перед Ним на колени и скажет: «Господь, я исполнил Твой урок...»

И действительно вдруг захрустит снег под закуржавленным оконцем, протяжливо вскрикнет набрякшая дверь, и вместе с облаком морозного пара появляется на пороге жена Надежда с авоськами и сумками, его верный охранитель, ангел спасения...

1

Откуда выплеснулось такое длинное вступление, вроде бы совсем лишнее, постороннее для моей «книги переживаний», никоим боком не приносящее к ней, – не объяснить... Ведь речь-то пойдет о моих родителях, о их любви.

Пробовал начать с описания родовой избы (как и полагается в солидных мемуарах), того гнезда, в котором я однажды вылутился из материнной родильницы и открыл на Божий свет глазенки; бабушкин дом стоял в верхнем конце Окладниковой слободки (города Мезени), по улице Первомайской, о край просторного, бесконечного болота, переходящего за речкой Пыей в Малоземельскую тундру. Выпрыгнув из окна можно было при великом старании убраться по северным моховым палестинам аж до Карского моря, на гибельный край белого света... Так и шли когда-то, будто замороженные пространством, поморы-землепроходцы. Зимами родное болото превращалось в спящее белое море с волнами-заstrугами, на первый взгляд совершенно безжизненное, мертвое, но мы-то знали, что по зарослям кустарника-еры бегают стайки куропатей, там шляются лисы, в поисках добычи, мечут бисер следов зайцы, выскакивая на поедь из ближних ворг, там шастают волки; под весенним солнцем снег крепчал, оплавлялся, покрывался ледяной броней, хрустящей корочкой-настом, он свободно держал даже взрослого человека и можно было пройти болотом во все концы света... В конце мая с белыми ночами тундра зацветала, торопливо наливалась зазывными яркими красками, превращалась в цветной радостный ковер, и от него в распахнутые окна наносило сладким хмельным духом канаварника, сихи, голубели, морошки, моховой прели, иван-чая, а чуть потянет ветерок с лета, как сразу же вся травичка оживет, всколыхнется, – и шелковистая трава – пушица, похожая на крохотных цыплят, и ярко-желтый зверобой, и фиолетовый кипрей, и осотник, и зонтики корянки, – затрепещет вразнобой, потянется, зазывая нас, детишек, к себе... Но на болоте пока нечего делать, там несытно, бродно для детских ножек, маятно от духоты, мы пока пасемся по свежей пахоте, где плугом вывернуты на белый свет желтые сладкие корешки. А с конца июля тундра – наш выгон, наша пастьба; на ближних к дому кочках мы отъедаемся, толчем в бутылках первую наспевшую ягоду, выжимаем сок, и похожие на молочных козлят, днями не вылезаем с болота, набивая животишко лешевой едою...

Кажется, я уже об этом вспоминал... Эти лучезарные картинки раннего детства неотступны, пожалуй, это и есть то самое счастливое у человека, чище и радостнее его уже никогда не случится; это богатство неповторимое и оттого бесценное, немутнеющее, не покрывающееся с годами туском и патиной, не прячущееся по сердечным захоронкам, но являющееся пред очию во всякое время самовольно, чтобы растревожить душу, не дать ей отупеть от обыденки. Вот тут-то мы и спохватываемся вдруг до невольного сердечного вскрика: «Господи, какое счастье мы, оказывается, уже имели, постоянно хуля жизнь свою! Что имеем – не храним, потерявши – плачем!» Значит в детстве Бог помещает человека на короткое время в рай, испытывает его раем, в какой бы скудости ни жил тогда ребенок. Он тогда едва ли выше дудки-падреницы, и мать-сыра земля нянькает его в своей горсти, и солнце особенно радостно проникает сквозь розвесь берез и поросль душистой травички...

Я пробовал начать «книгу переживаний» и с того, как я, малец, чуть выше валенка (мне лет шесть или семь), спешу ноябрьскими густыми потемками в «третий магазин», чтобы сменить в очереди бабушку. Канун советского праздника всегда выкидывали муку по талонам, и хотя народ знал, что достанется всем, что в этой малости не обманут, не обидят, но отстаивал всю ночь, терпеливо перемогая стужу и нужу, никак не выражая недовольства. Война кончилась, у кого-то мужики остались живы, уже прикатили с войны, пусть и колченогие и косорукие, но неожиданно новые, заматерелые, непохожие на прежних, вроде

бы постоянно хмельные, – не только от вина, нет, но от внутренней радости, что перемогли, вернулись в родные дома, – и вот они гуртовались у крылечка особь, нещадно паля махру, и оббивая сапог о сапог, а мы, приткнувшись подле, напоялись этим запашистым дымом, перехватывали мужичье тепло; осторонь стояли вдовы-бабени, запахнувшись в ватные подергушки, всем своим обреченным видом, скорбно опущенными губами старя самих себя (нынешним-то умом думаю: да какие там старбени, – жонки в самом соку, но у кого все будущее оборвалось одним днем с казенной похоронкою, а на руках пятеро-шестеро дитешонок); да тут же смиренно, клюя носом, караулили свой черед старушишки в старинных салопках и седатые старичонки в оленьих малицах; вот и нас, мальцов, на пересменку старшим сбежалась не одна дюжина... Холод предзимний, особенно нудный, железный какой-то, пробирает до кости, дороги уже заколели, выбелились ночной порошей, досчатый тротуар скрипит под ногою, по-за рекой Мезенью сизые облака стогами обещают разродиться снегом. Все ждут урочного часа, когда стукнет на часах восемь, и тогда изнутри спадут с двери железные засовы-крюки, и народ (те, кто первыми в очереди), побряхтывая и постанывая, будет потягивать дверную ручку на себя, а кто позади, неожиданно накалившись, разгорячившись ожиданием, принажмут в спины, и толпа невольно сожмется в тугой ком теста, которому нет никуда выхода, и так, пошатавшись слитно на крыльце, неслышно воспев: «Эй, дубинушка, ухнем, эй дубинушка сама пойдет, сама пойдет, – подер-не-ем!», мезенские мещане наваливаются на непокорную дверь и выдавливают ее с петель, отбрасывают, такую упрямую, на улицу, и теснясь в узком проеме, вваливаются внутрь магазина; и я, шкет, среди них, как мышь в валенке, и никто меня не раздавит, не сомнет, ибо неведом почему, я ловок и настырен, ловлю любую щель и, пробиваясь к прилавку одним из первых, отыскиваю взглядом знакомую спину, за кем мне черед... И народ в магазине как-то сразу смирнеет, словно из него разом вышел весь пар, никто вперед не лезет, нет уже прежнего напряжения, и позабыв недавний накал, тайно стыдясь его, уже ведут мезенские мещане вполголоса обыденные разговоры, будто ненароком метая взгляд за прилавок, где дымится заманчиво, сытно белеет в мешках пшеничная мука, где продавщица снует деревянным совком туда-сюда, качаются чашки на весах, стучат гири и гирьки... Как бы отбивают радостную барабанную дробь: «Скоро праздник, мама наладит печиво, да и в каждой избе заведут стряпню, и пирогами да шаньгами, сытным духом жилого теста тогда пропахнет вся мещанская слободка...» Ну, а пока два кило в руки на живую душу, – и отходи в сторону, не маячь, не засти света. И, как помнится, сколько бы раз ни выкидывали праздничную норму, каких бы крепких новых дверей ни выставляли в магазине, оковывая железными полосами, каждый раз их разносили, порою в щепу... А потом отменили продуктовые карточки, хлебную норму, и ночные стояния за мукою и сахарным песком скоро ушли в воспоминания...

Но и этот зачин я отставил, почему-то полагая, что речь должна идти о родителях, и значит надо сразу брать быка за рога, а не волынить вокруг да около, делая прямое кривым. Но я, вот, все о себе да о себе, о своих переживаниях; но если о них, опять же, не поведать, на чем и настаивается бродиво жизни, если не вспомнить о таких мелких детских страстях, то и судьба родителей никак не вывяжется, ибо она, уже отлетевшая в небеса, отраженным светом живет только в моей, еще не остывшей душе...

Наверное, лучше бы начать сразу с писем. От отца остались велосипед, гитара, гармошка, патефон и сотня писем. Велосипед был единственный на весь нижний околоток, и все мальчишки научились на нем кататься сначала без седла, привязав к раме подушку или кацавейку, и можно было лишь удивляться прочности и долговечности первых советских вещей. Гитара с развесистым алым бантом недолго висела над кроватью и куда-то незаметно пропала, не потревожив моего сердца. Гармошку мама обменяла на хлеб. Патефон же крутили много лет, это был единственный безотказный музыкальный инструмент, на котором умела играть вся наша семья. Патефоном и большим набором пластинок в специальном

ящичке мы дорожили, скрашивая песнями Руслановой унылую скудость будней, а когда я подрос, то пластинки послужили мне подспорьем. Я проводил пересортицу музыкального «хранилища», ребячьим вкусом и смыслом соображая, что нужно хранить в семье, чтобы беречь длинными вечерами сердце, чего может вдруг хватиться мать (и слез тогда будет не убраться), и пропажа чего останется незаметной. Поначалу взялся за набор пластинок с речами Сталина; разбивал их молотком и относил в скупку «вторсырья». И чего их хранить? – думал я, беспечно вслушиваясь в бесконечные аплодисменты, бульканье воды из графина, хриплые, с акцентом скупые слова вождя. Переставлял другой стороной, – и снова бурные аплодисменты... Какое богатство зря пропадает. А пластинки тяжелые, весу в них много. Килограмм пластинок стоил четыре рубля, этих денег мне хватало на кино и кулечек слипшихся монпансье. Потом перешел на оперы и симфонии. Шли на списание Чайковский, Глинка, Мусоргский и вся «могучая кучка...» Пластинок было так много, стояли они в специальных жирках так тесно, а уловистый «промысел» мой был так вкрадчив и неприметен, что мать, наверное, и не догадывалась о их пропаже. Вот ведь как получается: отец собирал, не думая о выгоде, но о красоте жизни, а непутный сын разбазаривал...

Письма же хранились в «думке», вышитой розанами наволочке, и лежали в верхнем ящичке комода. Они никогда особо не занимали меня, хотя с малых лет примелькались, были всегда на глазах, сопровождали все мое детство, их было поначалу, как я понимаю нынче, куда больше, мать тоже проводила с годами свою «пересортицу», чтобы чужой взгляд не оследился на сердечных сокровенных тайнах, дорогих только ей, и не вывернул бы их изнанкою. Иногда, когда не было матери, я доставал письма из комода, шерстил, иное выдергивал из пачки наугад и безразлично прочитывал наось, если останавливала взгляд какая-нибудь картинка, иль завитушка, нарисованная цветным карандашом, ибо «отец» – это было нечто отвлеченное для меня, бесплотное, вроде бы и не бывшее никогда, словно бы я был «сколотным», безотцовщиной, выткавшись сам по себе из болотного пряного воздуха, из гибельных моховых павний болотных бездонных озер, маревящих в ясный день над тундрой и как бы приколотенных к небу. Дней рождения в семье никогда не справляли, будто матерью на этот день была наложена крепкая печать, чтобы не травить сердца, и дня гибели отца тоже не знали. Он словно бы однажды убежал, кинул семью, скрылся в неизвестном направлении, а может завис меж небом и землею, отлучившись на время, и вот мы ждем его, а его все нет и нет. А потом и ждать перестали, и вспоминать...

Но с годами отношение к письмам менялось, прорастало любопытство к тайнам родителей, ведь они не были назначены чужому взгляду. У матери в комоде хранились прозапас две «осьминки» махры, желтой, крупчатой, терпко, «вонько» пахнувшей табачиной. Махоркой мать травила колонии клопов, когда наклеивала новый слой газет. Я открывал заслонку в печи, скручивал толстую «козью ногу», запаливал, и, заслонившись едкими клубами дыма, ложился на материну пружинную кровать с никелированными шарами, закидывал ногу на ногу и раскрывал пожелтевшую, поистертую на сгибах «отцову почту». Как-то выудил, запустив руку в наволочку, конверт, в нем оказалась буква «Т» из наклеенных марок, под нею стишок:

«Получил письмо от Тоськи
И обрадовался я,
Потому что дорогая,
Не забыла ты меня...

Без луны на небе мутно,
А при ней – мороз сильнее!
Без любви на свете трудно,

А любить еще трудней.»

(28. 4.40 г. Ржев.)

В убогой комнатенке сумрачно, тихо, в другой половине дома у дяди тоже все на работе, окна приравешаны морозной кружевной броней, от багрового вечеряющего солнца мохнатые узоры на стеклинах вспыхивают сполохами, над комодом, откуда я достал письма, большой портрет отца в черной раме, отец играет на гармонике, у него высокая шапка черных волос, толстых, как проволока, темные глаза, толстые губы. Я совсем не похож на него, внешне он совсем чужой, во мне много от матери и дедушки Семёна. Сквозь горьковатый, щиплющий глаза дым, заставший комнатенку, отец вглядывается на меня с укором и вместе с тем жалостливо, отчего на глаза наворачиваются невольные слезы. И кажется, что и отец тоже плачет вместе со мною... Может в эти минуты что-то отзывистое и ворошится в груди, но как-то мельком, непамятно, скользом, не задевая души. Я весь пока в блазни, весь в запрещенном взрослом мире, я воровски курю, валяясь на материнной кровати, – и оттого, что я творю грешное, запретное, мне особенно сладко в эти минуты... Мне скоро тринадцать. Старшие брат с сестрою уже съехали учиться в Архангельск, младший братишка Василек в яслях, мать на работе. Сумерки густеют, бледнеют сполохи на окнах, комнатенка съеживается, как шагреневая комната, вроде бы покрывается паутиной, рубином вспыхивает махорная скрутка. Я жмурюсь от дыма. Невольно шарю взглядом по житишку и ничего нового не нахожу в нем. Та же печь-голландка с занавеской у запечка, там сохнут катанки и носки, стоит баночка молока на простоквашу, сразу за кроватью рукомойник с тазом за ситцевым легоньким прикровом, в переднем углу возле окна черная тарелка репродуктора, в правом углу висит на гвозде мохнатая елка, которую я притащил с ворги. Поставить некуда, настоль тесно в боковушке, и я приторочил развесистую елку к потолку. Она грузная, ее кусачие изгибистые лапы готовы полонить все живое пространство. На елке густо навешано самодельных игрушек из цветной бумаги, гирлянды флажков и бус, которые я мастерил всю неделю пред праздником. Есть и несколько блестящих легких шаров, покрытых изморосью, они тоже остались от отца. Так сказала мать. Есть в комнатке круглый стол, швейная ножная машинка и комод. На комод зеркало, шкатулочка из папье-маше палехской работы, несколько слоников и розовая насмешливая свинья-копилка, дожидаясь своего часа. Махорный терпкий дух изгоняет из холодеющей избы даже праздничный запах еловой смолки. Возле печки лежит беремце ольховых дровишек, источающих слезку. Время подкатывает к четырем, я часто прислоняюсь к боковому зальделому оконцу, соскребаю ногтем мохнатый иней, дышу ртом, чтобы вытаять проталинку-глазок. Скоро в просторе улицы должна появиться мать в почтовом темно-синем пальто, и по тому, как спотычливо пробирается она узкой стезею в глубоком снегу, насколько изгорбится, накренится под тяжестью сумки, я стану угадывать, словно полоротый птенец, с чем попадает наша кормилица домой, – с пустыми руками или тащит домой съестного. И настроение как-то скоро меняется от сполошливой радости до глубокого уныния. Сегодня на почте для детей должны давать праздничный гостинец, в нем может оказаться шоколадка, кулечек конфет, горстка печенья и парочка пряно пахнущих корицей и ванилью хрустящих козуль, которые мы с братцем конечно же сразу не прикончим, но повесим на елку, и вскоре же, с часок промедлив, станем откусывать и отламывать по крохотному кусочку, чтобы продлить наслаждение... Дальше этого мое воображение не убегает. Я прибираю вымятую кровать, изгоняю махорный дух из комнаты и узких темных сенцев на волю, соображаю, чем бы умягчить настроение матери. Ага... Дровишки нарублены, воды полная кадца, заулочек от снега вычищен, и сугроб под окнами уже подпирает скат крыши...

Дети не знают страданий, и потому их неразвитая душа в самом зачине свернулась клубочком, как слепой кутенок. Они живут, как небесные птицы, не зная судьбы и рока,

они вечны, как ангелы, и оттого бессознательно жестоки и часто бессердечны к близким, не понимая суровости жизни. Дети полагают, что родителям все достается легко, они никогда не устают, не знают печали, никогда не увянут и не выстарятся.

Много лет я не брал в руки отцовскую связку писем; бумаги, ветшая, кочевали по родичам из рук в руки мною совершенно неоцененные (обычная житейская переписка, как полагал я в юности), их хранила судьба именно для меня, чтобы через много лет перекочевать из сутемок прошлого, из того старинного утекшего времени, когда меня еще никто не ждал. Как странно устроено в природе; человеченки вроде бы еще нет и в зачине, он где-то в космосе живет крохотной зернинкою, но он уже и есть, никем неизвестный, ненамоленный, как бы всем лишний; нужна лишь воля Бога, его попущение и благословение, чтобы из живого пульсирующего семени выклюнулся тот, кого позвал белый свет, кому нестерпимо захотелось глянуть на него глазом и возопить от ужаса случившихся перемен и восторга: «Я пришел!» Дитя рождается не тогда, когда задумано отцом-матерью, но когда он сам решит появиться, и Господь, услышав его просьбу, дает на это свою волю... Ведь так раньше и говорилось: «Бог ребенка дал». Считалось великим несчастьем, если детей в семье не получалось, и тогда жизнь была не в радость, годами вымаливали ребенка у Господа, страдали ночами перед иконами на коленях, били поклоны, задабривали посулами, ходили по монастырям по всей России и знахаркам-травницам, давали Богу обет, а в церковь приносы, просили старцев, блаженных и юродов молиться во здравие. (Царь Алексей Михайлович был вымолен преподобным Елеазаром Анзерским.) В народе говорили, дескать за грехи тяжкие прилучилось с бабою такое несчастье, запечатал ей Господь плодильницу... И грехом великим, непрощимым считалось в народе насильно освободиться от плода, убивать его в утробе. «Где пятеро, там и шостому найдется кусочек на пропитание. Где гриб родился, там и пригодился. А кто извел дитяти, не попустил на свет Божий, тому век счастья не видать».

Вот и я-то, казалось бы, не больно и нужен был хворающей матери, как бы выскочил преж времен, без всякой задумки, но отцу появился в радость. Получив телеграмму, уже следующим днем пишет он на Мезень:

«г. Ржев. 14.3.1940 г. „Милая Тоська, поздравляю тебя с рождением дорогого для нас сына Вовки. Я несказанно рад, что все, дорогая, обошлось благополучно! Наконец, кончились твои страдания! Конечно не все, ведь еще Вовки большого нет с тобой, но его теперь будет заменять маленький Вовка. Теперь желаю тебе, моя крошка, набираться сил для дальнейшей жизни. Целую моих милых крошек Ритенку и Генюську...” (Письмо раскрашено цветными карандашами. Нарисовано алое сердце.) И далее своедельные стихи „ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ТОСЬКИ.“

«Тонюське!
Тонюську дорогую
Послушать я готов.
Табак курить не буду
И буду я здоров.
Теперь, моя любимая,
Дела пойдут на лад.
Спасибо, моя крошечка,
За вкусный шоколад.

После разлуки с Тоськой
Все думы в голове,
О жизни дружной нашей
О детках, о тебе.

Теперь тебе, голубонька,
Так тяжело без меня,
Но будет это времечко,
Прижму к сердцу тебя.
Прижму и расцеую,
Мой цветик золотой.
И будем жить мы весело,
Любимая с тобой...

* * *

Время коварное мчится,
Оно безразлично к судьбе,
Но все мои мысли, желанья
Направлены только к тебе.

* * *

Что ни день – разлука больше,
С каждым днем свиданья близок час,
Будет время – будем жить мы вместе
И никакие силы не разлучат нас...»

Нынче я понимаю, как дороги (драгоценны) были письма для моей матери, и единственное, что связывало ее с прошлым, делало жизнь долгой и непрерывной, – эти вот пожелтевшие листки бумаги с буквицами, выведенными каллиграфическим писарским почерком. Сохранились не просто послания из прошлого, но бывшая жизнь, пусть и похожая на сновидение, из которого трудно выдираться в явь, ведь этот сон был куда радостнее, краше, полнокровнее, чувственнее затрапезного глухого быта вдовицы.

Война со всем ее трагизмом, с ее миллионными потерями оглушала мое сознание, но как-то особенно не трогала души, ибо то были чужие несчастья в далекой стороне, невидимые слезы, неслышимые стенания, отвлеченное горе. Умом-то я принимал, конечно, величие и громадность русской жертвы, но те беды случились где-то, война прошла палом по чужим, невидимым судьбам, я не видел облика погибших, не знал особенного характера, они все были как бы на одно лицо. Но прочитав письма отца, часто сентиментальные, семейные, житейские, я вдруг понял через жизнь моей матери невосполнимую, неизъяснимую утрату, весь истинный скрытый глазу ужас войны, который с поля сражения перетекает в дальнюю деревеньку, во вдовый дом, когда с приходом похоронки разом зачеркивается все будущее. Если горе одной лишь женщины (моей мамы Тони) было таким глубоким, то каким оказалось общее горе всех русских вдов? Если сложить его воедино, то, пожалуй, достигнет оно седьмого неба и упрется в хоромы самого Господа Бога.

...Духовное от бесконечных переживаний может и навастривается, обостряется, страдания выделывают нового человека, душою уже мало похожего на прежнего, но душевное, сердечное, мимолетное, – с их охами-вздохами, радостным ойканьем и ночным шопотом, плотским томлением, короткими праздниками любви, пирогами и застольями,

встречами-проводаньями, совместным любованием детьми и устройством их судьбы, – вдруг в один миг уходит в прошлое и запечатывается там навсегда. Оказывается, жизнь человеческая от рождения до ухода и сочиняется из всего самого будничного, неприметного, душевного и сердечного, что при ровной счастливой жизни обычно и не замечается нами...

2

До того, как дядя Валерий (Валерушка) женился, у нас были общие сени. Зимой студеные, гулкие, летом – прохладные, в сенях висели и стояли шкафы, где держали съестное, провиант, муку и сахар, и крупы, стояли ладки с рыбой, и тут же бабушка хранила печиво. Дверцы закрывались на вертлюжок, и то, что на них не водилось замков, особенно приманивало меня, огорая. Бабушка любила стряпать «каждоденное» по субботам и сдобу по праздникам, а хранила печеное на полках, и я, пошатавшись на улице, приоткрывал украдкой дверку, высчитывал, сколько на тарелке ягодных шанежек, вытаскивал одну и выметывался на заулочок. Но эти ватрушки были такие маленькие, почти крохотные, такие вкусные и ароматные, они так незаметно и ловко, даже не коснувшись языка и неба, проскальзывали в мою заячину утробушку, отчего-то не насыщая рахитичного тельца, они были такими воздушными и бесплотными, что вызывали лишь сердечное раздражение и сладкое восхитительное воспоминание. Бегая на улице, я неотвязно помнил о их присутствии, – и эти картинки настойчиво преследовали меня, – что в шкафу хранится так много печеного, и пока меня нет возле, шанежки конечно же выставят на стол к самовару какой-нибудь роднице – гостье и тут же все подметут, позабыв про меня. Полчаса не проходило, как я, сдерживая дыхание, снова прокрадывался к заветной полке, снова пересчитывал остающуюся стряпню, откуда-то снизу выколупывал шанежку (мне казалось, что никто не заметит моей проделки) и торопился на волю... Бабушка – великий экономец, строго ведшая семью через увалы военного времени, выдававшая к чаю «рукодано» по глызке сахара и кусманчику хлеба, когда мы не смели протянуть самовольно руку к тарелке, конечно же все видела, ибо у нее каждая ватрушка была на счету и так хитро уложена горкой, что всякая корочка была видна с тарелки своей завитушкой, – но зная о моих проделках, ни разу не указала, не пригрозила и не пристрожила, не обозвала воришкой, постоянно прижимая меня, безотцовщину, считая за своего несмышленого ребенка, которого Бог дал ей вместо погибшего сына Владимира...

Братцы мои, жизнь укатилась, а все стоит перед глазами, – и эти гулкие сени с накрашенными полами из толстых плах, и лестница на темный чердак, где под крышей среди шуршащих веников и качающихся сетей с наплавками и глиняным кибасьем, принакрывшись густой паутиной, обитают дед-доможирко со своей бабой доможирихой, и эти настенные ящики, столь приманчивые для меня мальчика, вечного прожоры, и дверь в бабушкину половину, оббитая холстами и ватными жгутами для тепла... Та дверь вела в кухню с присадистой русской печью, где бабушка с дедушкой спасались от зимней стужи, и где несколько лет проживал я, из кухни был ход в просторную (так мне помнилось) горницу, тесно уставленную фикусами, чайными розами в кадках, геранями и столетниками, и когда белые и красные розы густо расцветали, то комната походила на летний сад. Цветами занимался дядя, к ним он имел неискоренимое пристрастие...

...В то время, как я лежу на материнной перине и бездумно «фукаю» махоркою в потолок, загибая кольца, я уже не живу на бабушкиной половине; года четыре назад, когда дядя решил завести семью и оплодотвориться, меня отвели назад к матери. В прежние годы в стене, где нынче стоит комод, а над ним висит портрет отца, была дверь в нашу боковушку; того времени я помнить не могу, ибо лежал в люльке и «чукал» тряпицу с хлебным мякишем. Когда мать была на службе, бабушка через эту дверь унесла меня к себе вместе с окутками. Мама постоянно болела железами, после каждого рода у нее распухла и гноилась шея, в таком состоянии, да работая на почте письмоносской, волоча на себе тяжеленную брюхатую почтовую сумку за крохотные деньги, она не могла тянуть нас троих: старшей, сестрице Рите, исполнилось восемь, братцу Генриху – шесть... Вернувшись с работы и найдя зыбку пустой, мама горестно порыдала, повздыхала, выбрала свекровь за ее «дурной» поступок,

но тут же и отступилась от меня. Так, еще бессмысленный, я угодил в бабушкину семью и, казалось, что навсегда. (Об этом я уже вспоминал в очерке «Путешествие в Париж».) Бабушка стала моей матерью, а настоящая мама на несколько лет – просто соседкой, родницей, чужой сердитой теткой с двумя детьми, живущей по-соседству...

С того времени дверь заколотили, и семья наша совершенно обособилась. Стало понятно, что отец, которого ждали восемь лет, уже никогда не вернется.

* * *

Теперь о бабушке Нине Александровне... Она была из рода Петуховых, видом цыганская, с черной густой волосней, губастая, носастая, с темно-кариими глазами, с торопливой походкой, крикливая и неугомонная. Ее сестра вышла замуж за купца Мельникова, их сын (двоюродный брат моему отцу) после учебы в столице выслужился до генерала медицинской службы и академика, его сыновья тоже пошли по ученой части, один стал знаменитым онкологом, а умер от рака, другой – директором Пулковской обсерватории, правнучка – актрисой). В нашей семье жила легенда, что бабушка Нина выплакала глаза по погибшему сыну, но на самом-то деле, судя по переписке, она стала слепнуть еще до войны и ездила лечиться в Ленинград к своему племяннику-генералу. (В семье Петуховых наверное были одни девицы, и фамилия скоро перевелась, перелив кровь в другие мезенские роды.)

Когда я жил у бабушки, она еще видела на один глаз и бойко вела дом. Дедушка Петр Назарович из рода Личутиных (Назаровичей), у него было шесть братьев, все они состояли по департаментам полиции и почты, были мелкими служащими и далеко по образу жизни отошли от жизни своих предков Личутиных, известных промышленников-мореходов, ходивших на Новую землю и в Норвегу. Фамилия перешла в сословие чиновников с мещанским укладом, – с фикусами и чайными розами, с темными салопами, кофьями в самоварах – любителей городских романсов, наливки, моченой морошки и брусники, печеных ситов, малосольной семги и домашней выпечки...

Войдя в семью Назара Личутина, бабушка сразу породнилась с огромным поморским родом. Тогда-то они и поставили свой домик в пять окон в нижнем конце Мезени о край затажного болота, завели коровенку, овец, получили свой покос на сухом веретке за ручьем: весь берег по краю заливной поскотины был уже застроен. Петр Назарович тоже служил на почте письмоводителем. Ростика небольшого, сухонький, с короткой стрижкою и усиками, скулы в мелкой серебристой щетинке, в аккуратном мундирчике, с шаркающей неторопливой походкою, – он до конца жизни походил на гимназиста. Такая «казенная мышь», необходимая во все времена для ровной жизни любого государства, исполнительная шестереночка в его огромной неповоротливой машине.

Утром дедушка чинно, слегка пригорбившись, неторопливо двигался хлипкими мосточками, обросшими травой-муравой, на работу, и соседи, не глядя на часы, знали, что времени без пятнадцати минут девять; днем приходил на обед, а вечером возвращался домой, и все верно знали, что на часах пятнадцать минут седьмого. Петр Назарович не изменял своей привычке до шестидесяти лет, пока служил. Соседка Паша Шаврина, словно не было для нее других дел, или какая нужда припирала, обязательно выбегала с поганым тазом и вехтем и, выплеснув со взвоза грязную воду из-под рукомыльника, сильно припадая на левую ногу, мчалась мимо соседа к болотной яме, чтобы, поди, в десятый раз за день вышоркать помойную посудину тряпкой и осотою... Петр Назарович невольно призадерживался, вздернув куцые бровки, недоуменно смотрел вослед серыми тесно посаженными глазенками, как хромоножка с высоко подоткнутым подолом юбки, сверкая белыми тощеватыми лядвиями, словно лихая кобыленка, обдав соседа паром из ноздрей, мчит босая по болотным кочкам,

осень ли то, иль морозное утро... (к Паше Шавриной я еще вернусь)... И ничем не выразив недоумения, также неторопливо следовал дальше, затянутый в узкий почтовый мундирчик.

Я не знаю, был ли дедушко подкаблучником, гонялся – нет со шваброю за своей неугомонной супругою Ниной Александровной, изменял ли ей когда, но голоса его, тихих повадок, нравоучений, которые должны были быть ко мне, когда я, сорванец, обитал в их семье, – я совершенно не запомнил, словно бы дед неслышно, ровной походочкой проскользнул мимо моей памяти. С невесткой (моей мамой) в пререковы он никогда не вступал, не зубатился, не грозил нервной снохе, а все молчал и молчал, но и не заступился ни разу, когда совершенно испортились отношения с дядей Валерушкой, видно по природной робости своей (иль равнодушию) не хотел принимать ничьей стороны. Его по болезни еще до войны вывели на пенсию, но пособие было куцее, и Петр Назарович вернулся на службу, неумолимо увядая плотию, как сухостоина в бору. Мне же казалось, что дедушка вечен и все в нем неизменно от форменной одежды, которую он донашивал, до привычек. Но все труднее становилось выскабливать щеки бритвою, и седая щетинка уже не сходила со скульев. Младший сын не замедлил обрасти детьми, и бабушкина половина, казавшаяся мне такой просторной, вдруг оказалась тесна, и тогда стариков решили отделить, перестроив просторные сени в комнатенку. И вдовью семью тоже сердито зажали, совсем заузили ее жилое пространство, выкроив на улицу лишь узкий темный переход... Работников дядя не нанимал, строились сами, в оконце было видно, как неумело тесали они бревна, отдирали топорिशком щепу, а потом, впрягшись в постромки, волочили сырые деревья за дом, где прирубали новый вход и стайки для овец. Дедушка тогда был уже совсем стар, почтовые синие брюки плескались на худых ножонках, как занавески с оборками, когда напрягая узкие плечи и морщиноватую серую шею, по которой сбегали короткие серебристые волосенки, дедушка впрягался в ярмо, упорно раскачивал по земле комель, чтобы сдвинуть бревно с места. Ну просто муравьишко, что тащит соломинку в общий груд... Но тут к старику подстраивался сын, напрягал спину и широкий зад, загривок Валерьюшки наливался багрецом, и родичи скоро скрывались в заулке, оставляя в траве жирную рваную борозду... И уже там, на задах тюкали топором...

Дядя Валерий был выпитый отец Петр Назарович, только размерами крупнее, иной выпечки и выделки: лицо гладкое, ровное, как бы отшлифованное, с прижатыми ушами, тонкими губами, с короткой прической «полубокс» и близко посаженными глазами. Соседка-хромоножка, тетя Паша, злоязыкая сплетница-переводница и вместе с тем сердечная, добрая женщина, примерила ему прозвище «огурец» и, как приклеила, так точно списалось оно с натуры... По правде говоря, в Мезени никто без кличек не ходил, порою они бывали и обидные. В нашем верхнем околотке жили Клопы и Комары, Ворзи, Кути, Херовичи, Мандели, Манькины и Малашкины, Пекари, Батькины, Соболи и т.д. Многих я уже и не упомяну. Каждому человеку была приклеена особая отличка, словно бы без нее сосед мог затеряться на миру, остаться неузнанным. Если одну большую ветвь древа Личутиных звали Назаровичами, то Валерий Петрович, будущий почетный гражданин родной Мезени, заимел прозвище «огурец». Может и обитало-то оно лишь на нашей Чупровской улице и на Советский проспект не вылетало, а может и знали, но не упоминали при нем, ибо неловко было низить известного в городе человека, что служил библиотекарем в райкоме партии... Прозвища считались пережитком, с которым следовало бороться...

Сцена на заулке, как тащат бревно старик с младшим сыном, прочно, живописно осела в памяти и невольно послужила причиною повести «Бабушки и дядюшки», где главный герой Федя Понтонер строит бомбоубежище, чтобы спастись в грядущей атомной войне. Повесть была, вроде бы, написана совсем о другом, и странно, что случайно, прочитав ее в журнале «Дружба народов», одна родничка из Архангельска «услужливо накатала телегу» Валерию Петровичу, дескать, «племянник изобразил тебя в повести в весьма неприличном виде»...

И, наверное, через год встречаемся в Мезени, дядя попадает мне навстречу возле милиции, и никак нам не разминуться, не разойтись... Угрюмый взгляд близко посаженных глаз еще пуще сбежался к носу и, казалось, что дядя не увидит меня, прошепстует мимо, да и я вдруг почувствовал неловкость и вину, вспомнив героя повести Федю Понтонера. Я забежал по сторонам взглядом, мне захотелось тут же провалиться сквозь землю, только бы не столкнуться с родичем, но досчатый щелястый тротуар, густо обросший лопухом и крапивою, не желал опрокидываться. Дядя совсем не изменился, только раздобрел на тихой райкомовской службе; он внезапно задержал шаг, и уставя на меня порошины зрачков, с глубокой обидою в голосе скрипуче выдавил: «Владимир, ты почто выставил меня таким идиотом на весь мир?» Я сделал наивные глаза, будто не знал, о чем идет речь, и возразил: «Валерий Петрович, вы просто не так прочитали... Это не вы, это литературный образ...» На это дядя ничего не ответил и пошел дальше, но «Феди Понтонера» не мог простить мне до самой смерти. Помню, как через четверть века зашел в дядину половину, чтобы расспросить о моем отце. Валерьюшка, высохший весь, обструганный старостью, теперь вылитый батюшка Петр Назарович, с незамирающей обидой сказал как отрезал: «Твоего отца я совсем не знал... Брат ушел в армию, когда я был совсем ребенком. (А ему было тогда восемнадцать лет.) И вдруг совсем не к месту, злорадно добавил. – А вы знаете, я много занимался в архивах и акта о бракосочетании брата и вашей матери не нашел». Странно было слышать эти слова от старика. Он зачем-то поставил под сомнение их супружество...

Через два месяца дядя умер. Я попросил у родственников почитать письма моего отца к родителям, их наверняка сохранился не один десяток. Сын Женя ответил, что всю переписку Валерий Петрович сжег перед смертью...

Если размышлять о корнях, о родове, то, пожалуй, в отце моем мало что отслоилось от Личутиных. Но от бабушки, наверное, перешло все или почти все и в наружность, и в характер...

3

Шесть лет назад судьба послала мне вестника, а я в пылу торжества, весь разгоряченный, с туманной головою от похвалы, едва расслышал глуховатый старческий голос посланца в людском гомоне, похожем на птичий сполошливый грай, и тут же позабыл его в суматохе юбилейного столпотворения. У меня словно зарево вспыхнуло в голове и так мучительно обожгло сердце, и я, растерявшись, уводя взгляд в сторону, не зная, о чем спросить, что-то вяло пробормотал, – так все случилось странно и неожиданно. А тут еще публика терзала вопросами, улыбками, просьбами, «растаскивала меня по частям». Мне бы хоть телефон спросить, иль адрес, чтобы после связаться. Значит, я внутренне, сердечно, душевно и духовно еще не был готов к встрече с прошлым. А старик смущенно поклонился и, чтобы не отвлекать от торжества, торопливо растворился в толпе. И я тут же забыл о госте из минувшего времени... Да, я после старался что-то припомнить из встречи, старик, кажется, сказал, что знал моего отца накануне войны, иль служил с ним действительную, а потом разминувшись на войне. Все вымелось из моей пустой головенки, как бы выдуло сквозняком. Иль наснилось? Иль привиделось? Да нет же, меня действительно разыскал посланец отца, которого я никогда не видел, и оттого мне трудно представить, каким бы вдруг он явился, мой отец, из нетей долгого забвения, а я бы, конечно, не признал его в высохшем согбенном старичке с темным морщиноватым лицом, сивой прядкой волос надо лбом и печальным выцветшим взглядом..? Я ведь вздрогнул тогда от какого-то мистического ожидания, что внезапный гость вдруг скажет сейчас, что ваш отец жив, я знаю, где он, и отведу к нему... Это Господь протянул мне прядено клубка, а я небрежно оборвал его...

Но, слава Богу, с годами что-то непременно ворошится в человеке, в нем происходят незримые перемены. Нельзя сказать, что он становится внешне лучше, красивее, ибо годы потрошат, как рыбину нож, сбивая серебристый клецк и живой благородный лоск; порою от человека остается одна «стень», лишь тусклое отражение от прежнего, – так весь вылиняет. А..., к чему, любезные, расшаркиваться и выписывать словесные кренделя, достаточно приблизиться к зеркалу и взглядеться в свое постное изрытое рыло... Но ведь когда я был гладкий и розовый, как поросенок, меня не преследовали мысли об отце и надо было случиться, чтобы шкурка потрескалась и покрылась шелухой, – и тогда лишь душа застонала и из нее запоточило слезою. Боже мой, подскажи, как там родитель мой?! И так захотелось вызвать его из небытия, выставить перед собою живым.

Да тут еще сестра, как бы предчувствуя скорый конец, прислала прощальную весточку, где просила «написать роман о необыкновенной любви отца и матери». Невольно пришла на ум наволочка с письмами, я стал хлопотать о них, и со всякими проволочками переписка из Мезени попала ко мне. Я взвесил посылку в руке, еще не понимая ее ценности, словно бы определял лишь вещественную тяжесть, но сердце мое вдруг вздрогнуло от непонятного страха, и я, не распечатывая, сунул письма «в долгий ящик». И лишь через год решился прочитать. Помнится, я даже приневолил себя раскутать старое кружево, когда-то лежавшее на швейной машинке, в котором нынче хранились бумаги. Когда читал, неоднократно мороз пробежал по коже, и каждая строка поворачивалась новым, глубоким смыслом, с нее как бы отряхивалось мелкое, житейское, чему мы по-обыкновенно иль не доверяем иль предаем ухмылке. Боже мой, какие страсти таились за полунамеками, за полуфразами, неистовство чувств, близкое к безумию, вспыльчивость и нежность. Время пошло вспять, и я увидел отца. Сестра оказалась права.

* * *

Письма у матери всегда были под рукою. Зимой при свете моргасика, крохотной копилки, сварганенной из аптечной бутылочки и круглой железки от перьевой ручки, куда был просунут шнурок иль скрученные хлопчатые нитки, – так вот при свете этой копилки, отбирающей от темени лишь тусклый круг возле стола, она доставала письма из верхнего ящика комода и придирчиво перебирала, наверное пересчитывала, не делась ли куда весточка, ибо мы, несмышленные и коварные младени, в отсутствие мамы на свободной стороне письма безжалостно оставляли свои карандашные каракули, будто эти армейские треугольники назначались назад к отцу... Прятать их было бесполезно, лишь возбуждался особый варварский интерес.

Также напрасно было прятать сахар. Сахар выдавали на карточки «глызами», похожими на голубоватый искрящийся сладкий камень. Если его долго лизать, то губы склеивались, и вся мордашенция превращалась в липкую замурзанную карамельку, куда были вставлены хитрые близко посаженные «глазенапки». У бабушки Нины стащить сахару было трудно, даже невозможно, ее секретные тайники и погребцы не знал никто; перед чаем она добывала из-под фартука сахарную «голову», сверкающими щипчиками откалывала всем (детям и взрослым) по осколку и давала «рукодано». Если в доме заводились монпансье или полосатые подушечки, спаявшиеся в медовый ком, то бабенья благословляла конфеткой, сама умудряясь с одной карамелькой выпить чашек восемь чаю, и почти непотраченную сладость, слегка погрызенный с одного бочка кусочек, оставляла на блюде до следующего самовара. Бабушка Нина имела в доме власть «тираническую», пока не женился дядя Валерушка, – и перечить ей никто не смел. Каждое чаепитие имело свои традиции и их следовало соблюдать. У матери же в семье (куда вернули меня), несмотря на ее капризный, порою и вздорный характер, было куда больше воли, вернее во всем соблюдалась свобода; не хотела, да и не умела нас ущемлять в самом малом, чтобы мы потешили детскую утробушку. Помню, как прятала она месячный сахарный паек на печь-голландку: я сооружал подобие эшафота из табуретки и поленьев и, рискуя разбиться, доставал узелок, похищал «глызу» и смывался на улицу. «Сладкая мышь» завелась в нашей боковушке и ее не мог поймать ни один материн «капкан». Она прятала сахар в сених, на чердаке, под кроватью и под периной, в комодке, на чердаке под сеном, а однажды решила схоронить в окованном железными полосами сундуке. Сундук был ее единственным приданым, приехавшим в городок из родимой деревеньки Жерди и напоминал об рано умершей маме Марии (моей бабушке по материнской родове). Ключ неисповедимыми путями, мальчишеским ищейным нюхом я отыскал, – блестящий, с витой головкой, торопливо, прислушиваясь, не идет ли мать, просунул в ушко толстый гвоздь, надавил, что-то курлыкнуло в скважине, – и надо же... хоботок в прорези хрустнул, свернул себе шею, и ключ застрял в замке навсегда. Видит Бог, я был ни капельки не виновен; насколько красив, изящен и загогулист был старинный стальной ключ, настолько оказался он слабенец в детских ручонках.

Это случилось весной, когда на взгорках за городскими воротами, за скотинными дворами и меж прясел местами уже проклюнулись жидкие проталины, но на полях и луговинах еще толстой зыбкой периной лежал сахаристый снег. Чую неизбежное наказание (вернее предполагая его, но сердцем не веря ему), я босой помчался по снегу на угор, только пятки засверкали, а мать, потрясая ремнем, кричала в сиреневые сумерки: «Вовка, вернись, а то запорю!»

С того раза мама, увидев бессмысленность занятия, перестала прятать сахар, но и во мне внезапно пропал к нему всякий интерес. Значит телесный мой состав перешел в новое качество. Наверное, ему захотелось табачку.

Эти невинные проказы, эти детские шалости были столь несерьезны по нынешним примеркам, что ничего не вызовут у читателя, кроме улыбки, но в том послевоенном голодном житье они отбирали у матери последние нервы. Есть грех простимый и грех непростимый: так вот о давних проделках нынче так сладко вспоминать, будто я мышинными зубками отколупываю от «сахарной искрящейся головы», и этой медовой сладостью, по капле стекающей в мое зверное горлышко, никак не могу напиться....

Как пчелка собирает нектар с каждого цветка, просунув хоботок в его зев, так и я, испытывая острую необъяснимую тоску, вглядываюсь в пестроту пережитого, как в благоуханный цветущий луг, и каждой картинкою, похожей на художный эскиз, возбуждаю в себе будто бы угасшее навсегда прошлое. И с невольным пристаниванием сердца отвлекаюсь от ровного течения мысли...

Мать ждала отца до сорок девятого года, считалось, что он пропал без вести, как сгинули в том пожаре миллионы русских мужиков. Ей какое-то время даже не платили пенсии на детей, наверное власти полагали (и не без основания), что солдат мог угодить в плен, иль поверстаться к власовцам, в диверсанты, в полицию к немцам, съехать на запад, дезертировать, — да мало ли куда может повернуть неисповедимая судьба. Ведь человек — не муха, чтобы сгинуть бесследно, его незримые пути неизбежно, каким-то неисповедимым образом обнаружатся под зорким оком государственной службы... И вот перелистывая архив, я недавно обнаружил похоронку, пришедшую еще в сорок пятом году, но мать, оказывается, скрывала от нас казенную бумагу, да и сама, видимо, не поверила ей. Как помнится, до нас часто доходили обрывочные слухи, что учителя Владимира Петровича видели то на морском вокзале, то в поезде, на пересылке, на арестантском этапе среди заключенных, — будто бы он просил передать жене весточку, что жив, что пусть ждут, — то в лагерном бараке, то в столице с другой красивой женщиной. Перетолки были разного рода, они подогревали нашу жизнь, давали ей веры и терпения, а с ними куда легче переносились лихолетья. Нам казалось, что матери стало бы куда легче, если бы отец вдруг обнаружился, и пусть бы себе жил на другом конце света с новой семьей; по-моему мать до конца своих дней так и не поверила окончательно, что муж погиб. Эти тускнеющие с каждым годом письма долго не оставляли в покое, а после превратились в единственное бесценное богатство; ведь Господь не столь жесток, полагала она, чтобы до конца обрезать даже крохотные надежды на счастье...

Весной, когда наступали в природе белые ночи, и солнце светило неугасимо, до августа не скатываясь с неба, мать любила читать письма в кровати. Если день банный, то, намывшись, сменив постельное белье, высоко обложив себя подушками, выпроставшись из-под одеяла по белые покатые плечи, мама высыпала на высокую грудь письма и наугад вынимала конверт; читала послания молча, а потом долго лежала, призамгнув глаза, погрузившись в себя. Я думаю, что она знала их наизусть. Настроение ее внезапно портилось, она плакала навзрыд, начинала укорять мужа, бранить, как живого: «Обманщик... Сам сбежал на тот свет, а меня оставил тут коротать вдовою!»

Мы затихали за столом, как мыши, лишь ниже клонили голову к учебнику, затыкали уши, только бы не слышать странного надсадного крика. Ведь отец погиб на войне, его никогда больше не будет с нами, а мать честит его, на чем свет стоит. Лишь сестренка по какой-то природной женской проницательности подсаживалась к маме, приобнимала за плечи, как верная подружка, и начинала что-то несвязно шептать ей на ухо, заливаясь слезами... (Вот я пишу эти строки, и меня самого невольно одолевают слезы, которые я не вырвел тогда, шалопай и уличный сорванец, которого отец оставил маме вместо себя на поддержку, а укрепа оказалась худая.)

Позднее, когда я возвращался из столицы в родной дом снова холостым, она во всем винила только меня. И стоило нам зацепиться в разговоре, в чем-то не сойтись, разбежаться во мнении, как она тут же начинала костерить меня. «Вы и любить-то нынче совсем не уме-

ете..! Да-да!... Все вам выдай, все подай..! Уж лишний раз не поклонитесь друг дружке, боитесь попросить прощения!.. Все нос в потолок!» – Слова-то верные, от души, но она произносила их так громко, нараспев, с надрывом, так возвышенно и цветисто, словно бы читала с театральной сцены монолог, – что по молодости моей наставления не давали науки, но лишь отталкивали и вызывали ответное раздражение, отчего весь смысл нравоучений пропадал. – «У меня с Володей такого не было..! У нас была настоящая любовь, вот..! Все нам только завидовали.»

Мать уже забыла свои признания, как муж пробовал учить молодуху в назидание сразу после свадьбы. Одно лишь слово впоперечку и сказала, и тут же закапризил, всю приданую посуду срыл со стола под порог. Потом в помойное ведро замели, – столько и попользовались. Тетка Улита бывало придет, не раз спросит: «Ой, деточки, что-то я у вас дареной посуды не вижу?» – «Володя картину над столом решил повесить, да столешницу опружил и всю посуду нечаянно перебил...»

«Вот послушай, как отец писал мне о любви, ты только послушай. Нынче никто так не напишет. Двух слов связать не могут. А обращаются-то как: эй ты... Будто собачку зовут... – Мать шелестела страницами, отыскивая нужное место. Промелькнуло на оборотной стороне алое сердце, пронзенное стрелой. „Любовь – это ветерок, шелестящий среди роз, нет, это желтый блуждающий огонь в крови. Любовь – это мучительно страстная музыка, которая заставляет трепетать даже сердца стариков. Это маргаритка, которая раскрывается при наступлении ночи. Вот что такое любовь..! Она может принизить человека, вознести его опять и снова заклеить позором. Но она может быть незыблемой, как скала, и гореть неугасимым огнем до самого смертного часа, ибо она вечна...“

Я не принимал этих напыщенных слов, но и правды сказать не мог, но, видимо, кислая физиономия невольно выдавала мое сопротивление, отчего у матери сразу портилось настроение и с нею случался взрыв истерики. Мать нынешнюю жизнь сравнивала с прошлой и теперь по-всему выходило, что раньше все было лучше, полнее, любимее, откровеннее, чище. Мать жила в прошлом, тешила душу минувшими счастливыми мгновениями, растягивала их в воспоминаниях на целые годы, и оттого часто слезилась, куksилась, вроде бы беспричинно, и сразу каменела сердцем от каждого, по ее смыслу, обидного слова, изводя тем самым себя и других. Своей прошлой любовью она мучила себя, сжигала, держала душу в постоянном сладостном наваждении, после которого иногда наступало пробуждение, а вместе с ним и рвущая нервы усталость. Все на свете казалось обманом, ересью, суетой, зряшной пустой канителью, и тогда ей не хотелось жить... Нужен был лишь повод, чтобы уйти навсегда...

4

«Душа неизъяснимая»

«Дети прилипчивы к животным, хотя и тискают порою безжалостно, но тут же и прижимают беззаботным, наивным сердцем, и плачут скоро просыхающими слезами. И домашнее зверье отвечает своим „тиранам“ ответными чувствами, скоро прощают обиды и часто встают на защиту, ополчаясь даже на своих хозяев. Такая спайка, такое родство живут меж них быть может и потому, что дети еще близко к земле, почти вровень со зверьем, собаку и кошку легко осязают руками и принимают за родню; ведь они тоже дышат и бегают, но так похожи на плюшевых, у них добрые глаза, мокрый чутыистый нос и теплая пушистая шкурка, под которой волнами прокатывается ответная на ласку телесная дрожь. А взрослые где-то высоко, они под самыми облаками, почти вровень с деревьями, это существа иного порядка – непостоянные, скрипучие и непонятные...

В детстве, как и все ребяташки, я всегда мечтал о своей собаке, намекал матери о псишке, но она отвечала уклончиво, не отказывая прямо, иль вовсе уходила от ответа. Поморские мохнатые собаки жили обычно на воле, возле избы, зимою они зарывались в снег, чаще на гребень сугроба, чтобы далеко было видать, и наружу торчали лишь темно-карие суровые глазки в заиневелых ресничках, черный, как керзовый сапожок, носыря и сторожкие уши. Лайки были покладистые существа, напрасно не ворчали, никого не задевали, однако прощупывали каждого пешего и конного сторожким взглядом, и лишь меж собою часто затевали гневные свары, чтобы отвадить от своих владений заплутавшую иль нахальную соседку. Иногда в большие морозы хозяин пускал собаку на повесть, иль в сени (на мост), но в саму избу заходить не позволялось, а особенно в тех дворах, где блюлись староверские заветы, и в большом углу на тябле стояли иконы. Считалось это баловством и грехом. Кормили собак несытно, не поваживали, держали впроголодь, чтобы помощница не зажиралась и не теряла навыка, давали обычно, что оставалось от обеденного стола, иль залежалось на погребице, поприкисло и попритухло, но если хозяин прибалывал (а это случалось зачастую от простуды), и не мог принести дичины с охоты, то псишку отпускали в лес на самопрокорм, где резвая опытная собачонка всегда затравит зайца или подомнет глухаришку... Собака была членом семьи, добытчиком, и если теряла чутыистость по возрасту и болезни, иль слабела на ноги, то с нею особенно не церемонились, и потому крайне редко преданное существо доживало возле хозяина до старости...

Всего этого я, безотцовщина, конечно, не знал, да и не моего ума это было. Мне просто хотелось иметь собачонку, вот и весь сказ: чтобы она облизывала меня, тыкалась сыренькой носопыркою мне в лицо и преданно ковыляла за мною, куда бы ни поскочили мои вольные ножонки.

Однажды я решил и подобрал у соседей Шавриных на повети заблудшего щеню. Он был не больше рукавицы-мохнатушки, с квадратной мордочкой и черными бусинками глаз. Более красивой собачонки, пожалуй, не сыскалось бы на всем белом свете, так я решил, глядя на безгласное существо влюбленными глазами. Сердце мое замерло, когда я провел ладонью по пушистому загривку. Но куда поместить нового жильца? В тесной келейке, где помещалась наша семья, он как бы везде оказывался невольно под ногами. Но сирота у сиротеи всегда обогреется, верно? Так решил я и коробку из под обуви поставил в тесный проход за материнной кроватью возле умывальника. Худшего места нельзя было придумать, но откуда тогда мне, огоряю, найти было ума. Ведь дети живут лишь одним сердцем. Щеня поскуливал, вырывался из гнезда на волю, чтобы обнюхать комнатенку, наследить в ней, поставить меты и признать своею. Сердце мое радовалось псишке, я, елозя за собачонкой на коленях,

тыкался в нее носом, тывкал, норовил просунуть палец подальше в зверную черную пасть, кобелек рычал и щекотно прикусывал кожу, а я отчего-то заполошно, счастливо смеялся, как дурачок, опрокидывался на спину и дрыгал ногами. Я не думал, что будет дальше, и как судьба распорядится находкою...

Тут пришла с работы уставшая мать, сумеречно взглянула на коробку, на игривого косолапого щенка и сказала: «Унеси собаку, где взял». «Но мама, – заканючил я, – ты посмотри, какой он хорошенький. Он подрастет и станет жить на улице. Я буду ходить с ним на охоту». – «Ты что, не слышал меня? Живо унеси туда, где взял, – непреклонно повторила мать, стараясь не глядеть в мою сторону. – Нам и самим-то негде спать. Ты уже большой мальчик и должен все понимать без слов». Я отвернулся к окну, захлюпал носом, чтобы разжалобить маму, слезы закапали из глаз. Но сокрушенным сердцем я понимал, что мать права, ради собаки она тесниться не будет и ничего изменить нельзя. На стены, оклеенные газетами, уже ложилась вечерняя северная мгла, и свет от керосиновой коптилки едва добавлял света. Щенок заполз в коробку и затих там, взгорбив спину, словно бы догадывался, что сейчас решается его судьба.

Газеты были наклеены толстым слоем, рядов в шесть для тепла, за годы стали, как защитная броня, в одном месте над материнной кроватью я проковырял на пальцем, томясь перед сном, и оттуда, как из оконца, на меня строго, с укоризною смотрел из довоенного времени нарком тов. Ежов в кителе с отложным воротом и в красивой твердой фуражке, будто сшитой из картона. Он словно бы говорил мне: «Ну что, доигрался..?»

Мать подхватила собачонку вместе с коробкой и ушла из дому. Я, крадучись, выметнулся следом, но сразу потерял ее в густых сумерках. Босиком по хрустящему снегу, по жидким проплешинам оттаявшей пахоты я выскочил на косогор, истошно вопя: «Жуча..! Жуча..!» Весенний ветер-низовик путался в травяной ветоши и кустах ольховника, забивал мои вопли, закладывал уши. Чудилось, что это мой родной псишко поскуливает со всех сторон, плачет и зовет к себе. Несколько дней я напрасно метался туда-сюда, искал по задворкам, за дровяниками, в овраге у ручья, за конюшнею, на полях, у родника под угором, где начинались непролазные ивняки и ольховники, – но мой Жуча пропал навсегда, стигнул, будто наваждение, словно теплый ласковый сон... После-то много было у меня псишек, многое и повыпало из памяти, попритухло, пораструсилось, но эта ласковая щеня, как первая блазнь, как желанная детская утеха, до сей поры незабываема мне...

...Дети – чистые наивные существа, но от того, что они еще не познали греха, не боролись с ним, не страдали, – жестокосердые и черствые, живущие лишь своим настроением и плотью. Я не понимал тогда, да и душа не отзывалась, как матери тяжело, непосильно, ведь ей, военной вдове, всего лишь тридцать три года, что она тянет на себе непосильный воз и живет наизнос, и все мысли, все силы нацелены лишь на то, чтобы набить нам, птенцам, брюшишко, поднять на ноги, вечно голодных, ненасытных... И щеню-то оттащила на болото по той же причине, что нечем будет кормить. Мать-то знала о грядущих непереносимых хлопотах, когда кобелек обрыляет, встанет на лапы; это как бездельного едока принять к себе на постой.

...Я тогда вернулся за полночь. Снег от легкого морозца спекся, схватился корочкой, ломко похрустывал, проминался под зальдившимися босыми ступнями. Из-за туч вынырнула луна, белая, как сахар-рафинад, с голубыми закрайками. Я еще остановился на крыльце, на что-то надеясь, крикнул в ночь: «Жуча..! Жуча..!» Прислушался. В груди у меня поставывало, но слез не было, это плакало сердце от глубокой обиды, которую, казалось мне, никогда не изжить. Мать даже не ворохнулась в постели, в зыбком свете, струящемся в раму, ее заострившееся скуластое лицо чудилось неживым. Брат кротко спал на полу, я мышкой занырнул под его бок и тут же забылся с горькими мстительными мыслями.

...Проснулся я внезапно от тонкого ознобного поскуливания, словно бы к подоконью прибежал мой щеня и с улицы зовет меня. В окно заглядывала луна и в комнате было призрачно светло. Я заворожено приподнялся на локте, как-то худо понимая, что происходит. Мать сидела, скорчившись, на полу в белой ночной рубашке до пят и, прижавшись к железной спинке кровати, стягивала на шее удавку. Моя сестра Рита ползала перед ней на коленях, выдирала из рук веревку и жалобно, с плачем, умоляла: «Мама, не надо..! Мы-то куда без тебя..? Ма-ма, не надо!» «Не пропадете... Государство вырастит...», – отрешенно, в забытьи, гугнила мать, с трудом раздирая спекшиеся губы.

Не выказывая себя, я занырнул назад под одеяло в свою нагретую нору, сжался в комочек и, с трепетом поджидая неизбежного несчастья, незаметно уснул.

...Очнулся же внезапно от мерного бряканья ложки о дно миски. О как знаком и радостен был этот звук!.. Это мама крутила тесто на блины. Она сутулилась у стола, переступив через наши тела, как темная башня; голова, освещаемая керосиновым моргасиком, была повязана белым платом по самые брови. Мне были видны только горько приопущенные губы и принабрякшие веки. Но весело топилась печь, и беспечные языки пламени резво, с прищелкиванием, прыгая по дровишкам, готовы были выскочить на ледяной пол к нашей постели и обещали мне беззаботный бесконечный день.

«Бедный Жуча, как-то ты там один?» – подумал я, засыпая снова.

...Никогда того случая мы матери не припоминали, чтобы не беречь минувшее.

5

Мама была из Жерди, что в тридцати верстах от Мезени, за Пезой-рекой. Там я впервые едва не утонул. Дедушка Семен Житов, мамин отец, впервые повез меня на каникулы в деревню и, как позднее признавался, споялся с этим огорчем. Пока ждали перевоза через реку, я умудрился вскочить в беспризорную лодку, оттолкнулся от берега и меня потащило течением к устью, где неукротимая Мезень-река распаивала навстречу свои широкие объятия. Лодка оказалась дырявой, стала скоро набираться воды, а гребей в посудине не было, и я на глазах ошарашенного деда Семена стал тонуть. Так, не доехав до родовой маминой деревни, я чуть не отдал концы. Дед увещевал меня: «Вовка, ты уже большой мужик. Ведь тебе уже восемь лет, а ведешь себя, как пацаненок...» Уже на следующий день я сунул руку в старую молотилку на гумне, новые деревенские друзья повернули шкиво, шестеренки зачарованно закрутились на валах и мне только по случайности не изжевало напрочь правую руку. Но покалечен я был сильно, во всю летнюю побывку ходил с перевязью через плечо, как военно-раненый, чем изрядно гордился...

Тут, наверное, пора немного рассказать о материной крестьянской фамилии, которую я, непонятно почему, но сильно залюбил, хотя мало, скудно чего помню.

Знаю только, что Семен Житов был в царской армии фельдфебелем, вернувшись из армии, женился на девушке Марии из деревни Николы. Был он приглядист с русыми кудреватými волосами, с рыжеватыми от махорки наостренными усами и голубыми глазами с улыбочивой искрой. Сколько себя помню, улыбка не покидала его лица. Он был, наверное, даже красив, и ладен, сноровист, хотя судьба была неласкова с ним. В тридцатом году власти признали его лишенцем, у крестьянской семьи отобрали все права, и эта гнетая долго тяжким бременем лежала на горбу, истирая холку в кровь. Дед ходил обозами на Канин за навагою, потом месяц тащились лошадьми до столицы и в Питер, увязав мороженую рыбу в рогозные кули. С Неси, Омы и Пеши, Чижи и Нижи везли кладью глухаря и куропотя, лисицу и песца, горностая и выдру, оленину, камуса, шкуры зверя морского, семгу, омуля, нельму, сига, камбалу и селедку. (В те поры еще много всего было. Помню, когда куропоть летел с тундры, то над Мезенью неба было не видать.) А надо сказать, что служба обозника лихая, студеная, бездомная, чертоломная, когда неделями и месяцами тяжело нагруженные лошади ползут, поскрипывая копыльями и полозьями, через заснеженную тайболу от кушной зимовейки до другой, чтобы в ночь передохнуть, сменить лошадей; а кругом таежная глушь и безлюдье, ухабы да дорожные просовы и раскаты, тут глаза держи востро, и стоит лишь призаснуть чуток, тут тебя леший и поманит, да кладь-то и стащит с дороги в сугроб, – будь он неладен, анчутка этот, – да и опрокинет, вот и барахтайся по шею в снегу, вызволяй сани анышпугами из снежной бездны. А если мороз садит и до ближайшей кушной изобки еще версты и версты тягуна и лесного болота?

...Старшего сына Спирю гоняли валять лес, а в двенадцать лет уже и дочь Тоню отправили на сплав на обкатку леса, замелившегося при молевом сплаве. Северные воды студеные, река Мезень глубока и норовиста течением, работа та с багром тяжкая, лошадиная да воловья, дородный мужичина и тот плечи обломит за световой день, а тут девчоночка еще совсем «малеханная», не больше ратовища. ...А ночь в походном шалаше, накиданном из еловых лап на скорую руку, да на комарах и гнуса, мужики те хоть смолят махру да матерятся, да и винца примут чару для обогрева и от усталости. А девчонке разве что остается, похлебав кулешу, тихо поплакать в рукав от непонятной обиды и ломоты в теле... Осень, вода уже остывшая, покрылась салом, вот-вот пойдет шуга, сапожишки худые, подол мокрый, по пояс в реке, высушиться негде. Железное здоровье надо иметь. И не отвертеться – не отказаться от разнарядки. Там-то и застудилась мама, получила хвори на всю оставшуюся

юся жизнь... Коли лишенец ты, то и помалкивай в тряпочку, тебе никто «таких прав не давал, чтобы пасть раскрывать и нявгать». А к тому же двор обложили непосильной продналогою: молоко – сдай, масло коровье – сдай, мясо, шкуры, яйца, шерсть, сметану, рога – все сдай по разверстке... Сами молока не ели, детям наливали в блюдечко, разводили водой и те макали житенным колобом. Да еще и деньгами пригнетили семью сверх того. А коли каждая копейка в крестьянском хозяйстве была на счету, то бабушке Марии приходилось прикапливать денежку исподовольки, а хранила ее в холщевом мешочке, подвешенном к спинке кровати. Для «прилики», иль по какой-то особой задумке, – может чтобы не попасть в разряд подкулачников и врагов народа, – в переднем простенке висел портрет тов. Сталина. И когда бабушка особенно изнемогала от тяжелой жизни, когда стон и плач стояли в груди колом, и надо было освободиться от надсады, Мария выхватывала из подпечка ухват, тыкала сажными рогами в портрет Сталина и, не таясь, кричала так, что вопль вырывался на деревню: «Чтоб ты сдох, жид проклятый!» Что это за нация такая, жида? – думал я, слушая рассказ матери, но переспросить не решался; и посейчас полагаю, что мать моя тоже ничего толком не знала про эту породу. А пришло это слово в деревню, наверное, из староверческих духовных стихов...

Бабушка Мария оказалась недолговекой, еще до войны надломилась от житейских трудов и померла... И когда я впервые попадал в Жердь, ее место занимала новая жена Агриппина, тихая, кроткая бездетная женщина, типичная поморянка, принявшая детей и внуков мужа, как своих кровных. (Царствие ей небесное, – желаю я сейчас, вспоминая, как она обихаживала, стерегла, меня, пострела, чтобы вернуть матери живым, – неукорливо, мягко, заботливо, стараясь ничего не забыть и ничем не обнести за едою и в позднем вечеру, когда я, уставший, но счастливый, с горящим от воли лицом возвращался с улицы в избу...)

Но и бабушка Агриппина не зажила и деду пришлось доживать век вдовцом. Он, чего греха таить, любил поднять стопочку. Но никогда не напивался пьяным, не валялся под забором, во хмелю не бузил, и с лица его не сходило радостное выражение. Помню, питухи уже под стол свалятся под ударами Бахуса, а дед Семен отопьет из стопки, голову на руки уронит, лишь на минуту забудется, потом поднимет улыбчивые глаза, осмотрит застолье, как бы проверяя, пересчитывая гостей, – все ли на месте, – и тоненько, с хрипотцою затынет: «Со вчерашнего похмелья болит буйная голова...Тройка скачет, тройка пляшет, а седуки песню поют...» И так сутки мой дед мог не вылезать из-за гостевого стола. Потом дед заболел легкими, стал кашлять, оплешивел, светлая кудря покинула голову, все реже он стал посещать наш дом, наверное боялся заразить нас. И вот приехал однажды с попутьем, переступил порог, сдернул с головы шапку, и я едва признал деда. У него выросли волосы, довольно густые, пушистые, но какого-то мышинового серого цвета, так что пришлось заводить расческу. Помню, как дед прошел к комоду, на котором стояло зеркало, и деловито, сосредоточенно расчесал голову и поблекшие усы. (За всю жизнь я только двоих знал, у кого в старости заново отросли волосы, – это мой дед Семен и девяностолетняя старуха в деревне Часлово, где я и пишу эти строки.)

Дед Семен Житов, на которого я похожу, но которого так мало знал, и стал неожиданно моим романтическим героем.

У мамы были еще сестра Анисья и младший брат Василий...

* * *

В двадцать седьмом году отец закончил школу второй ступени (девять классов) и решил стать учителем. Его направили в деревню Ому в начальную школу. В тридцатом году перевели в Жердь и отец, не дожидаясь попутного транспорта из Чешской губы, где схоронилась тундровая деревенька, напрямик через болота и десятки тундровых ручьев и речек,

не однажды рискуя жизнью, приобрел пешком, сломав длинную рисковую дорогу, – так не терпелось ему попасть на новое место. Поселили его у Ермаковых... Жена хозяина была сестрою Семена Житова, моего деда. Матери в том году исполнилось тринадцать, осенью она пошла в четвертый класс... Тося частенько забегала в соседи, будто по нужде какой, просила то огонька на разжигу (и тетка, догадливо ухмыляясь, доставала ей с загнетка живой уголек), то кислой опары для теста, то соли, – а сама, будто случайно, стреляла глазенками, обводила посторонним взглядом избу и невольно наталкивалась на гостя; ее белесые короткие бровки при этом вздрагивали, хотя глаза внешне оставались холодными и прозрачными, но щеки беспричинно будто, наливались брусникой. Учитель, как бы случайно, всякий раз вдруг оказывался на хозяйской половине. Он тоже отворачивался равнодушно, доставал из кармана кисет, медленно развязывал его, рылся ногтем в пахучей махорке, долго скручивал сигарку, набивал табачком, но сердце его каждый раз больно тукало, когда с тугим хлопком закрывалась за девочкой дверь...

Новый учитель Владимир Петрович сразу «положил глаз» на девочку. Она только что прибыла с реки, где вместе с мужиками работала багром, гоняла бревна, лицо ее настигало ветром и дождями, прокалило солнцем, у нее широкий постав плеч, уже девичья грудь, упругие с ярким румянцем щеки, и отчего-то печальные не по возрасту, серые с искрою, широко поставленные глаза. По суровой жизни девочка как бы незаметно перешагнула свой возраст, рано заневестилась и казалась в классе «заблудившейся». После четвертого класса надо было уезжать в соседнее село Дорогорское, в семилетку, или в Мезень в интернат, но мама была дочерью «лишенца», и на этом ее образование закончилось. Девочку отправили снова на сплав окатывать с берегов омелившийся лес...

Однажды они столкнулись на деревенской улице лицом к лицу; Тоська шла чуть попереди девчонок, груди у нее холмушками, немного тяжеловатые для ее легкого, окутанного розовым сарафаном тела, выступала она напористо, словно бы они тянули, подгоняли вперед. Парни (а среди них был и сын хозяина Илья Ермаков, Царствие ему небесное) шли вразвалку, под тальянку, и как водится, что-то ехидное и колкое кидали девицам, а те не оставались в долгу, ловко обрезая языком, и дразняще, глуповато хихикали. Как водится во все века, невестящиеся «курочки» заводили «петушков», зная, приспевало, поторапливало, уже маячило на пороге время любви. У Тоськи лицо было напряженное, волосы дымчато струились, и хотя вечер был задумчиво тих, создавалось ощущение тягучего ветроморянина. Увидав учителя, она вдруг покраснела лицом, словно бы перед этим только что думала о нем и, не останавливаясь, дразняще выкрикнула громко: «Владимир Петрович, давайте с нами!» Остальные девчонки, поравнявшись, захихикали, уже с особым приглядчивым любопытством оглядели и оценили учителя, а тот от неожиданности так и остался торчать посреди улицы, задумчиво развесив губы. Сразу не решился, а потом показалось неудобным бежать следом, как глупый мальчишка «за мелкотою», недорослями, и потому, неодобрительно похмыкивая, напустил суровость на скуластое лицо. А вольный табунок по грядам камней, по переборам проскочил речонку и растворился за можжевелевой порослью на другом берегу, где стоял цыганский табор. Вскоре там стало еще шумнее, заперхали собаки, кто-то тонко, пронзительно запел, разминая голос, и тонкие дрожащие переборы цыганской гитары показались учителю в вечернем недвижимом воздухе особенно зазывными и тоскующими...

– Ныне им и вечерка не вечерка. Нет бы дома сидеть. Вовсе оглупали с этима цыганами. Блазнят они да поманывают дурочек, вот и повадились те к нехристям ходить.

– Это черт привлекает... Такое дикое время, когда Бога забыли и все пустились на дурное, – осуждали старухи, перебивая девьи косточки.

– Будто там медом намазано, так и тянет их туда.

– Дали волю, вот и галят, как оглашенные, вот и жжет да палит кунку дикошерстну.

– Вот уж сглазят котору ли, как девку Сару... Тогда очнутся поди.

– Нынче ведь как повелось. В подоле дитё притащат, как в лавку сбродят за куплею. Скажут: на, мати, водися... Эх-ма.

– Набуздаешь, и дедко даст плетюганов, и станешь, милая моя, водиться, куда денешься. Своя кровя.

Послушал деревенский учитель бабьи пересуды, и так вдруг одиноко стало на белом свете, так неприятно – хоть плачь. И уже прижаливал, клял себя за робость, что вот не кинулся следом; там, небось, весело сейчас, дым коромыслом, кострище палят до небес; Тоська, поди, с ухажером в обнимку, чего им теряться вдали от родительского глаза. Вернулся учитель на постой в свою половину, накинул на дверь крючок и впервые за последний месяц развел в непроливашке сажных чернил: «О, любовь – это летняя ночь со звездами на небе и благоуханием на земле! Почему она заставляет юношу красться по потаенной дороге, а старика горько рыдать в своем одиноком углу?! Ах, любовь превращает сердце человека в сад, пышный и бесстыдный сад, в котором разрастаются таинственные и ядовитые грибы».

Девушку Сару увели цыгане из Мезени самоходкой. Уж как они забрели на дальний Север, какая нужда их толкнула на Белое море, но только за шарком на поскотине, напротив города, они стояли табором все лето, и тем на долгие годы остались в памяти гулевые беспокойные люди, что один цыганенок чем-то обавил, улестил, обворожил юную мещаночку, и она, как ослепленная, села в цыганскую кибитку и, несмотря на плачь родителей, на увещевания соседей, сошла из города навсегда. По дороге они остановились у Жерди, искали на селе постоя, и древняя морщинистая цыганка, обвешанная монистами, прицепилась к учителю: «Дай погадаю, молодой, красивый. Вижу, на душе у тебя горе по службе. Позолоти ручку, положи на ладонь денежу. Не бойся, не украду. Всю правду скажу, что выпадет в жизни».

«Соврешь – не дорого и возьмешь, старуха... – Отказывался, вроде бы, учитель, пугаясь темных глаз гадалки, а душою-то хотел узнать судьбу и значит тайно верил предсказанию. – Ну откуда тебе, бродяжка, видеть, что у меня впереди?»

И сунул ей в ладонь монетку.

Лет пять было ему, когда наезжая молдаванка нагадала Петру Назаровичу, что его старший сын потеряется: «Его ни вода не возьмет, ни пуля, но он потеряется». Ребенок глубоко спрятал предсказание в памяти, но оно, оказывается, не пропадало никогда. Оно пригнетало и тревожило, навевало в душе мрак и морок. А вдруг сейчас старуха подтвердит насуленное?

«И откроется тебе в жизни дорога, – привычно запричитывала цыганка. – Но в ней печаль случится через женщину. Две их будет, я вижу, что две. Одна полюбит, а другая погубит. Той, другой бойся. Позолоти ручку, сынок, все скажу, как есть и что будет...»

«Иди прочь, старая», – с облегчением выдохнул учитель. Подумал: «Все врут. Ходят, собирают сплетни, а после врут. Где она, судьба-то, и кто знает свой час?»

(И третий раз ему было от цыганки предсказание уже в тридцать девятом году летом, осенью. Через месяц его забрали в армию. Мама моя те гневные посулы, оказавшиеся вещими, запомнила на всю жизнь и не раз вспоминала мне.)

* * *

Но стоит сказать, что в крестьянской семье отношение к девочке было зачастую чисто практическим; зная о недалеком неизбежном будущем, ее сразу воспитывали, как будущую хозяйку и мать, ее уже сызмала растили на «выход», на чужую сторону, годами прикапливали приданое, – белье, перины, платье, одеяла, – она ткала на будущую семью холстину, вязала кружева, рукавицы и носки, шила ширинки, полотенца, кофты и юбки, у нее в сундуке обязательно был схорончик, где по грошику собиралась на свадьбу денежка, в семье дочку хоть

и прижаливали и любили особой любовью, окрашенной грустью и скорым расставанием, но и часто потарапливали, чтобы не засиделась в девках, а то и сватали, выдавали «силком» в чужую деревню за старика с имением и землею... Если в шестнадцать лет она невеста-хваленка, водит по престольным в большом хороводе, она – наряжуха и песельница, выходит на посмотрение народу в столбовом наряде, чтобы показаться деревенскому парню во всей красе, и после удачного замужества этот наряд прячется в сундук и покоится в нем, уже как приданое для дочери; но если минуло за двадцать, то девушка отныне – вековуха, она упала в цене, ею как бы брезгуют парни, но и готовы «сладенькое разлизать», это девица второго разряда, как бы гриб-обабок, уже оплывший на одну сторону... О том на Мезени в любом застолье пели: «Когда цвет розы расцветает, то всяк старается сорвать. Когда цвет розы опадает, то всяк старается стоптать... Когда девице лет семнадцать, то всяк старается любить, когда девице лет за двадцать, то всяк старается забыть....»

С одной стороны в русской деревне жестко, сурово блюлась девичья невинность, она считалась главным ее богатством, ибо в ком стыд, в том и совесть, а в ком совесть – в том и сам Бог пребывает. (Простыни показывали на свадьбе, есть-нет красное пятнышко от кровички, иль кулебяку разламывали в застолье на утро: если с рыбой пирог испечен, то невеста честная, соблюла себя до мужа, ну а если пустая...) Иная поскакушка, не крепкая характером, наивно доверялась парню, бывая частенько при этом обманутой, то соблазненной, конечно же, немедленно знала вся деревня, и той девице не давали проходу, к ней, как собачьи репьи, цеплялись за подол сплетни и всякие небылицы, парни, которым считалось за подвиг «надуть девке пузо», сами же густо и метили избяные ворота дегтем, и от того позору, какой наваливался на скороспелку, было не только тошно и горько ее родителям, но и девке некуда было спрятаться, но легче всего было бежать с родимой завалинки на чужую сторонушку, где не достанут слухи старухи-переводницы. Казалось, о девичей чести хлопотала вся деревня, вся деревня блюла девичью невинность, стояла на ее страже... Ну, а если девка притащит в подоле до свадьбы, то эта история помнилась уже до скончания века.

Но были в поморье деревни, где «сколотыш», «выблядок», «байстрюк», считались за выгодное приданое, такая невеста ценилась особо, ее брали нарасхват, ибо за парня от общины полагался наделок, душевой пай, свои четыре десятины. Молодая жена приносила с собою не только будущего готового работника, но и землю, что на севере считалось особенным богатством... Случалось, что и малолетнюю юницу отдавали за вдовца, чтобы войти в родство иль получить за нее богатый принос, но приходилось порою и двенадцатилетнего мальчишку женить на рослой в годах девке, чтобы пришла в дом даровая работница... Конечно, всякое бывало на веках в русской земле. Но каждый раз, чтобы ни толковали иные родители меж собою, глядя на рушащееся хозяйство, на собственную бедноту и немочь, но любимую доченьку свою, если было у них не каменное сердце, а живое, конечно же лелеяли в тепле и чести, как голубой небесный крин, стараясь хоть столько-то, пока довелось, натешиться, налюбоваться своим богоданным цветочком. И когда провожали в другую семью, словно бы спихивая с рук, то столько было тогда исторгнуто горестных воплей, столько было плача, что невестины слезы затирали на полу вехтем...

И конечно, когда учитель стал «волочиться» за их дочь, Житовым было озорко, опасливо, как бы наезжий не надругался над их честью, не поглумился, не посмеялся над девочкой. Ее стали стеречь, прятать, и чем больше закрывали, таили, не выпускали на улицу под всяким предлогом, тем вспыльчивей становился учитель и порою (как вспоминает тетя Аниса, что будучи маленькой девочкой, была передатчицей тайных записок и писем) дерзко порывался выломить дверь, и дело доходило почти до драки. Семену Житову нельзя было особенно держаться за свое мужицкое достоинство и выхаживаться, если в тридцатом он был признан «лишенцем», а значит не имел никаких человеческих прав, чтобы отстаивать старинные крестьянские заповеди. В Сибирь, быть может, и не заслали бы, но и в северном

краю нашлось бы много комариных гибельных мест, куда могли бы загнать на выселки вместе с семьей... Но ведь и учителю, потерявшему голову, тоже было опасно связаться с семьей «лишенцев» Житовых, ибо и на него тоже невольно ложилось клеймо безыдейного, несознательного, заплутавшего меж трех сосен слепого человека... И тут же нашлись люди, что стали засылать «подметные письма».

Верил ли мой отец в приметы, запуски, наговоры и наузы, в прикосы и привороты, – я не знаю. Он был «матерьялистом», Бога драл за бороду, душе места не находил в человеке и жил, как мне представляется, сердцем и натурой.

Но Тося-то Житова была крестьянского рода и хотя крепко была «опоена» новинами и горячечными проповедями учителя, – вот и иконы с тябла из красного угла были изгнаны и упрятаны в сундук, – но тень Спасителя, его неизбывный дух неуловимо присутствовали во всяком деревенском зачине, начиная с утренней обрядни, когда мать Мария замешивала крутое тесто для хлебов, крестя квашню и каравай, и кончая поздним вечером, когда закрывались все горшки и ладки, чтобы черт не плюнул, и устье печи закрещивалось лучинками, и когда тета Улита заползала, кряхтя, на лежанку, сто раз поминая Господа, а хозяйка, управившись с неизбывными делами, уходила в запечье и там молилась горячим шепотом, достав с груди крестик, выпрашивая у Спасителя прощения за свои грехи и милости чадам и домо-чадцам.

Это же все было на слуху и незримо умещалось в сердце, как бы ни бежала девочка от Бога; да и куда бы ни пошла она по хозяйству, то ли на конюшню, то ли на поветь, чтобы кинуть сенца корове, то ли в баню, то ли в горенку или в подклеть, в повалушу, в вонный амбар, к ларям, в стайку к овчушкам, то везде она видела кресты под притолокой, начертанные материнной рукою, отпугивающие нечистую силу. Все было зачуровано, все было ограждено святым духом. И вместе с этим в избе жили доможирко с длинной бородой вехтем и его баба-доможириха со скверным характером, которых надо было улестить кушаньями. На повети, где висели невод и сети, стояли сани и расписная повозка-кошевка, обитал дворовый хозяин, а в бане по черному под полатами кушничал баенный дедко.

А куда деть гадания в святки и под рождество, многие кудесы в крещенские ночи, старинные приметы, которыми была тесно обставлена всякая русская деревня. Нет, девочка Тося вышла из совсем другого мира, и она, не показывая вида, конечно же верила всему старинному, что ссыпалось из окружающего мира, как из рога изобилия, на ее любопытную голову. И когда молдаванка нагадала Петру Назаровичу, что сына его, Володю, ни вода не возьмет, ни пуля, а потеряется он, то мама (запоздало узнав о том от свекрови) долго верила, – может и до самой смерти, что муж ее не убит, он жив, но потерялся, как пропали без вести на войне миллионы мужиков, которые иногда появлялись вдруг из небытия через много-много лет. Ведь цыганки-молдаванки обладают особенно крепким словом и его не обрушить никакой божбою, ведь за ним стоит нечистый, а может и сам сатана.

Хотя, судя по разговорам, мать себя не считала суеверной и Бога относил к дремучим пережиткам. Крестьянское, русское, заповедальное было, кажется, полностью излито из ее душевного кувшинца, и заменено интернациональным, безмолвным, неотзывчивым к Богу опоем. Тося Житова была сполна перекована для советской жизни, горячо отзываясь всем комсомольским сердцем, но действительность с ее сладкими обманчивыми посулами, увы, приняла ее сурово, отпихивалась от нее двумя руками, пропустив через терки и молотилки, ни разу не приветила, не обласкала с дня рождения и до смерти. А если в Бога не верила, то и опереться моей бедной маме было не на что, руки ее повисли над бездной.

Но она, как и миллионы русских баб, не переступила ту окаянную черту, за которой дьявол, – когда Бога уже нет навсегда, – и значит человеку все позволено. Я не слыхивал от моей матери за всю жизнь ни одного поносного, укорливого слова к советской власти, ничем-то она не похулила ее, не выхватывала ухват из подпечка и не тыкала сажными рогами ни в

портреты Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Горбачева, Ельцина и Путина. Она без сомнения верила в библейское, что «всякая власть есть от Бога», не принимая, что бывает власть и от дьявола. Православное, праотеческое сознание русские женочки блюли, несли в себе до конца жизни, не вникая в его глубины. Это внешняя церковь, «церковь в бревнах» была отвергнута после революции за непонятную простецу – человеку мистику, за сладкий блудный туман, за отступничество от крестьянина и его невзгод, но «церковь в ребрах» потиху неустанно погуживала в свои бессонные колокола.

Ведь зачем-то мама вспоминала те проклятия, носила их в памяти, что сыпались на отчаянную мужнюю головушку.

* * *

Я помню, что на стене в боковушке висела отцова гитара с большим алым бантом и после была обменена на хлеб. Иль я что-то подзапутал?.. Может гитару мы растерзали во младенчестве, порвали струны и лаковое, лосное звонкое кинули в болотную яму, обметанную багульником и кипреем, а на хлеб мама обменяла гармошку? Видно потому и рассталась мама с гитарой так легко, «не набуздавала нас» и даже не выбрала, что на ней лежало проклятие? В мусор и в лом ее! С глаз долой из сердца вон! Там ей, проклятой, и место!

Отец купил гитару на аукционе в Жерди. Впервые на деревне распродавали с торгов имущество раскулаченных. «Это по тем времена было богатство: самовар, ну зеркало, часы, посуда и белье. И зачем кулачить было? Нынче всякий так живет, да и много лучше. Значит всех кулачить надо?» – неоднократно перетряхивала мать старинную историю.

Э, не скажи... Это со временем вещи шашаедем изъело в труху, легла плесень и патина, на посуду и зеркала, разъехались в шипах шкафы и шкафчики. А по тем-то временам, в тридцатом году это было целое «богачество», заметная завидная отличка зажиточного мужика от безлошадного нищегорода, что ишачил на богатого соседа за ломаный грош, за пудовик ржички иль жита. И когда вынесли нажитое из кулацкой избы во двор, то у народа поначалу глаза разбежались.

Были тут и сундуки устюжской работы, громоздкие и пузатые, окованные жестью, со многими потайными замками, хранившими вековое бабье обзаведение; и зеркала с Норвегии в тяжелых ореховых рамах, потускневшие от комнатного чада, в которые смотрелось, быть может, не одно поколение, но все облики, старые и вовсе юные растворились в стеклянной холодной глади; были тут и часы в дубовом футляре из Варде; и пошевни богатые, отделанные росписью и резьбою; и упряжь вся была из доброй сыромятины, прошитая позеленевшими медными бляшками. Бабы мяли в ладонях льняные тонкие полотенца вологодской выделки; молодые девки примеряли парчовую душегрею из голубого басурманского шелка, подбитую куньим мехом. Но девкам уже не по сердцу была старая лапотина, им куда приятнее льнули к телу ситцевая кофтенка с оборками да короткая черная юбчонка... Цыгане пришли с зареки, сразу приценились к лошадям. А народ деревенский все робел, как бы стыдился покуситься на чужое, чуя что-то нехорошее. Илья Ермаков, вскочив на телегу, подбивал мужиков:

«За морем коровы дешевы, да провозы дороги. А ну, братья славяне, накидывайся на товар: по-пустому торчит, на вас же кричит, хватайте, не зевайте! Вот шляпа пуховая, век ношена, на помойку брошена, в ней мыши гнездо свили. А перевернуть, дак еще на два века хватит! Кому стул венский, товар мужской и женский: под любым танцует, под любым красуется. Как сядешь, так хряснет, по лбу брякнет и ноги в потолок. Раз, – пятьдесят копеек, два...

В избе Чикиных распахнулось оконце, показалась старшая их девка Марфа, закричала в толпу визгливо: «Жрите, сволочи. Подавитесь обносками нашими!» И завывала тонко

и жутко, обрывая пуговицы на груди кофтенки. Отец-старик пытался увести вон от окна, но девка тупо цеплялась за подоконье и выла: «Осподи, боже святыи, пошли архангела своего Михаила на помощь рабе своей изъяти мя от врагов моих и мучителей, не дай сотворити непростимое зло».

И тут учитель приценился к гитаре, казавшейся особенно хрупкой посреди прочей рухляди, с тонкой беззащитной шеей, с обвисшим шелковым бантом; подкинул ее, невесомую, перебрал струны и запел:

Ходи, Матвей, двигай ребрами,
Сыпь, дробь, Эпифидобр,
Кандибобрами...

В толпе закричали: «Эх, девки жердские, не бегать вам больше к басурманам к причастию. Учитель вас всех по струнке поставит».

«А что, я такой, я их всех по струнке».

И запел:

Как отец-то благочинный прогулял тулуп овчинный.
Попадья не отставала – теста квашню прогуляла.

И вдруг Марфа Чикина словно бы очнулась, криком перебила частушку: «Все заберите все! Только Христом Богом прошу, оставьте гитару. Ну что вам стоит, а? – И, умоляюще заглядывая в глаза учителю, смиренно добавила. – Ну сделайте такое одолжение».

«Беру!» – отрезал учитель, чтобы не идти на поводу у подкулачницы, и, закинув на плечо гитару, пошел с торжища...

«Проклинаю! – понеслось вдогон. – На веки вечные проклинаю тебя и весь ваш род!»

«Ужас-то какой... Один ужас, – с тоскою вспоминала мама тот случай... – И на кой ляд ему гитара эта понадобилась? Нет бы отступить. Обойтись что ли не мог? Так нет ведь, чтобы только все по евонному».

«Мама, ведь и время такое было. Учитель пример должен явить».

«Да-да. И время такое», – вяло соглашалась мама, сводя горестные голубоватые губы в нитку. И сразу становилась такой старенькой, такой изжитой, с поредевшими каштановыми волосами, куцыми бровками, обведенными черным карандашом, и шишкой во лбу, которая с каждым годом неумолимо разрасталась. Однажды зимой вдовица колола дрова, и обух отскочил от еловой чурки в лоб. Вот она, мета неизбежного сиротства.

«А что с девушкой той стало?» – спросил я, перебивая грустную тишину.

«Повесилась во время войны. Говорят, пила много, а после и черт забрал. На два года только и пережила Володю.»

6

Эх, голова моя садовая, стала как решето, будто «пим дырявый», все из нее вон вытекает и ничего не прибывает, и никакая наука, братцы мои, не идет в помощь.

Человек с годами коростовеет, как дерево, покрывается шелухой безразличия к себе и близким. Слезы торопливо, легко проливаются из тускнеющих глаз и тут же сохнут. Но детство, даже самое неурядливое, вдруг принакрывается прозрачными жемчужными покровцами, и свет таинственно мерцающий встает над ним переливистыми праздничными сполохами. Но небо, на которое прежде и времени-то не доставало взглянуть, да и не особенно и потягивало к созерцанию, вдруг всё чаще необъяснимо притягивает взгляд своей искристой глубиной... И вот шамкает сама себе бабеня, глядя на покрывающиеся сиреновой паволокой ближние сосняки, на зависшую над ними яркую звезду, похожую на жаркий уголь: «Слава те господи, вот и до весны доскреблася, а теперь-то и помирать грех».

Сколько пережито было, сколько всякого заделья прошло сквозь руки, сколько тягостей истолчено в труху, сколько перечувствовано было, перелюблено, перететешкано с ладони на ладонь; будто бы и вспоминается что-то порою такое родное, неразлучное, но уже чужим дальним умом, словно бы с другим всё случилось; вот и пальцы ссохлись, онемели, позабыли рукоделье, которому столько души и времени было отдано. Сколько ночей было недослано, когда вышивала прорезные шторы на окна, вязала подзоры на кровать и скатерти на стол, и занавеси на двери, крутила крючком, наматывая на палец бесконечную бумажную нитку из катушек десятого номера при свете коптилки, когда мгла вселенская опустится на занесенную снегом изобку, и от крещенского мороза гулко побряхтывает житышко всеми суставами, встряхивается в углах, будто из мортиры саданули ядром по заиневавшим бревнам, и в каждую-то проточинку в пазьях струит предательским сквознячком и уносит на улку с таким трудом припасенное тепло от сырого ивняка и ольховника. Дети посапывают на полу, а пальцы шмыг-шмыг, как прирученные мышки, и тянется овечье прядено из клубка, умощенного в подол бумазейной юбки, и спицы будто сами собой наискивают петельки, а губы невольно насчитывают рядки, чтобы ладненькая вышла пестрая рукавичка древнего поморского узора, иль носочки из грубой овечьей веретенки, но взгляд невольно нет-нет да и подымется к стене, откуда будто икона, смотрит на вдову из черной рамы муж, и все растягивает меха тальянки, уж который год не уставая, не прерывая игры.

Помнится, мать моя была доброй стряпухой и рукодельницей. «Конечно, Тоник, тебя расстраивать неохота, но приходится писать, что я живу не очень. Ты мне теперь становишься во много раз роднее, я вижу, какой я одинокий, какая без тебя плачевная моя жизнь. Ведь я, Тоник, не едал еще настоящего супа, варится суп из баранины, а получается картофельный или капустный. И не есть мне до тебя тепленькой шанежки и тепленького пирожка. Все хлеб и хлеб. Хорошо еще, что еще и хлеба ты мне посылаешь. Вчера приходили все учителя. Поиграли в карты и разошлись. Самовара не грел. Так неловко, но что поделаешь. Нет моей дорогой хозяйшки...» (из письма, январь 1936 г. А ведь матери было только восемнадцать лет.)

Но в старости уж и простых калачей не хотела (иль не могла?) завернуть, – так все нажитое призабылось, такая непосильная усталость навалилась, и сердце окончательно остыло к меркнущему быту. Поставит на электрическую плитку кастрюльку, накрошит туда картох, бросит ложку тушонки, горсть макарон, – вот и вся трапеза на два дня. Наверное, потому человек и торопится всё сделать заранее, чтобы успеть выполнить заповеданный урок; толчется, как заведенный, в круговерти дней, чтобы в конце жизни остыть от горячки, позабыть все тленное и окончательно уйти в себя. Одна ныне забота, как бы не замерзнуть, не околеть в остывлой кровати, и вот целый день, родимая, толчется возле печуры, которая

так бестолково сложена (будь она неладная), что тепло не столько в дом, сколько на улицу; лицо и руки в саже, платок на голове кулем, на плечах заношенная подергушка. Она ли, она ли сурьмила когда-то перед зеркалом брови, старательно выщипывала, вытягивала их в нитку, губы наводила красным карандашом, пудрила скуля и упругие щеки, волосы на висках завивала на каленый гвоздь, а сзади укладывала на валик, а голову покрывала беретом, похожим на блин. Так хотелось быть красивой (перед кем?), ладной, стройной, завлекательной, чтоб люди дивились вдове и невольно оглядывались вслед... И будто в один день все внутри оборвалось, и все ухорошки показались ненужными, были кинуты в бедную облупленную шкатулочку вместе с медалью «За победу над Германией» и незаметно затерялись.

В преклонные годы одевается бабенья в самое затрапезное и серое, чтобы цветом одежда сравнялась с осенней русской природою, и пользуется еду самую постыдную, чтобы не распалась утроба, и жалеет уже не столько ближних своих или соседей-сельчан (ибо Бог дал, Бог взял), но какую-нибудь тощую помойную кошачку, или бродячего псишку, или заклеванного до полусмерти петуха, или бронзового жука, беспомощно лежащего возле ног враскоряку, которого долго ворошит соломинкой, – и вот часами наблюдает за ними, удивляясь повадкам и чему-то беспечно смеется, утирая отпотевшие от скорой влаги глаза. И не странно ли, но взгляд чаще утыкается в то, мелкое, незначашее для сурового прожитья, чего по молодости не замечалось; попал жук под ступню, раскололся как орех, ну туда ему и дорога; охромел петух, под топоришко его, да и в щаный горшок, ибо суровая жизнь на земле не терпит терзаний по мелочам, особенно, когда дети по лавкам, как горох насыпаны, и каждый «ись» просит. Надо поднимать семью, заниматься обрядною, скотиной (коровы, овцы, свиньи, куры), той дворовой живностью, что помогала тянуть детей.

В молодости, когда вся прекрасная жизнь еще впереди, человек живет как бы в угаре, горит в работе; он ложится спать и даже в постели горюет, что не все успел, перебирает в уме те дела, которые отложены на завтра, и подушка от забот ворочается под головою; и вот нынче, когда бы, кажется, каждую минуту надо сосчитывать, беречь, употреблять в пользу, – живое время вдруг теряет всякую ценность, словно бы еще до смерти уже начат новый жизненный круг. Нет, не безразличие находит, не отупление, но тот долгожданный покой, когда душа воистину бракуется с небом, а зеленый полог березовой рощи за деревнею чудится заветной таинственной сенью, куда можно безвозвратно утечь. Оказывается, отныне пригождается лишь то, что не имеет практического смысла. Вроде бы зима приступила вслед за осенью, но чувства охладелые и мелкие, скоро преходящие, как в детстве. И слеза на глаза наплывает, как роса. Но если бы не случилось переживать, то не стало бы и воспоминаний, которые, вроде бы, не пригождаются никому, но имеют неоценимый странный смысл, ибо что ни содеется в мире, все когда-то приобретет форму воспоминаний. Многие полагают, что чем больше поскитаются они по свету, чем больше пошляются в утеху сердцу, чем сытнее и вкуснее помирволят своей утробушке, чем больше потаскаются по чужим постелям, заведя особый счет своим победам над женской плотью, тем краше станут на закате жизни картины воспоминаний; и вот пехаются во все уголки мира, тешат похоти, бьются за место под солнцем, вскарабкиваясь вверх по служебной горе, домогаясь власти, – и вот вроде бы честолюбие ублажено, и плоть утешена до отрыжки, было вкусно едено и сладко пито, – но однажды, уставясь взглядом в огонь камина, только и припомнишь, как приятель бабу увел, или Петр Петрович, козел такой, подсел, а Иван Иванович сбежал из ресторана, не заплатив по счету. Какие странные выборки производит память, часто самые несущественные, от коих стыдоба одна, и если ты человек совестный, то даже по прошествии долгого времени отчего-то щеки начинают полыхать от смущения. А все скитания по миру превращаются в лоскутья мелких впечатлений, похожие больше на рассыпчатый прах, которые сводятся к одному: вдруг оказывается, что ничего толкового не увидел, чем бы можно восхититься на веки вечные, везде люди живут одинаково, едят, пьют, страдают, так же влюб-

ляются, плодятся и ненавидят, так же старятся и, протянув из креста подагрические ноги (по недостатку), смотрят из креслица отсутствующим взглядом в огонь камина, ворочая языком вставные челюсти, вызволяя из пляшущего пламени дотлевающие воспоминания, вызывающие отчего-то не радость, нет, но грусть. Ездил по миру вроде бы для изумления, а нажил лишь печаль, потому что все похоже, будто содрано под копирку, и ничего героического, необыкновенного, ради чего стоило бы жить и страдать.

Откуда в человеке такая охота к перемене мест? Да плоть тоскует от страха неминуемой смерти, словно бы увиденное в путешествиях можно забрать с собою на тот свет. Но почему прежде в женщинах не было подобного чувства, и выйдя замуж в какой-нибудь поморской деревеньке Жерди, она ни разу не бывала, быть может, в соседнем печище, что за рекою, но ведь нисколько и не горевала о том, не брала в ум, и чтобы увидеть мир во всей полноте, ей хватало побасенок калик перехожих и рассказов мужа, что возвращался с морского промысла, иль с обоза в Вологду, Москву, дальние Сибири. Вернулись домой вживе, – ну и слава Богу. Русская женщина не знала тоски, потому что ждала мужа, она жила всевечным ожиданием и, будто клушка, вседневно толчалась с детишками, она исполняла завет, данный от предков и Бога, и потому не так отчаянно страдала от скудости и заунывного постоянства затрапезной жизни. И свою ровность, покладистость натуры она передавала и детям своим, вкладывала в их душу, как ухорошки в драгоценную склышечку.

А нынче женщины зачастую не ждут ни детей, ни мужа, и потому зубастые, громогласные, напористые, пригрубые чувствами, рыскают по Европам, чтобы заполнить внутреннюю ноющую пустоту. Но увы. Этот соблазн к перемене мест, этот плотский розжиг лишают внутреннего покоя и сладкой тишины, растравливают в душе зависть и черствость. Рожать бы надо бабе, полнить дом, продлевать родовую во времени, а она, грешная, никого не ждущая, таскается по чужим землям, чтобы хоть чем-то на время закопать сердечную разладицу. И утешается мыслию, что жизнь только на разбеге, что всё еще впереди, и не понимает, несчастная, что давно уже потерялась лишь потому, что возгоржась собою, не научилась ждать. Куда бы ни заносил тебя Господь, но вся полнота воспоминаний вызволяется лишь из этой, внешне незавидной жизни, прожитой в своем кугу, куда поместила судьба, и ничем ныне уже не раскрасить её. И ей, душевно расхристанной, никогда не воскликнуть изумленно, благодарно глядя на солнышко: «Слава-те, Господи, до весны дотянули, а теперь будем и дальше жить».

А может для того и стоит ездить по миру, чтобы понять, что везде удивительно просто и одинаково даже в житейских мелочах?

* * *

...Поклон мой Радигостю и Пирогоще. Еще послевоенный голод незабытен, еще белого хлеба не наелись, но гости в доме безвыводно, самовар со стола не слезает, что есть в печи – на стол мечи. Скудно угощение, но от всего сердца. Уже появились в продаже баранки, сваренные в местной пекарне, толстые, зажарные, будто покрытые блестящим коричневым лаком, их и выставляли кушаньем на стол, если не было печива иль магазинских глазурированных пряников. Баранки нанизывали на дратву и эту снизку колачей, будто ожерелье, надевали на шею. У сушек был не только плотяной смысл, ествяный, но и тайный, эротический, плодильный, о котором я догадался куда позднее. Почему-то мужикам нравилось в баранку просунуть палец, крутнуть колечко и особенным образом так взглянуть на бабу, что она невольно вспыхивала жаром и опускала глаза. И мы подражали взрослым, но ничего внутри не возникало.

Этот калач, разломив, хорошо положить в чашку с чаем и, он, скоро размокнув, разопрев, распухнув, раздобрев и разомлев, выпив в фаянсовой посудинке всю водичку, вдруг

азартно, торопливо укатывался в твою заячиную утробушку, чтобы тепло и уютно улечься там; а самовар посипывает, завивая кольцами задышливый парок, как домашний толстый кот, пускает в потолок свою гнусавую песенку, и в медном зеркале его начищенных пузатых боков отражается и твоя мальчишечья замурзанная рожица, и худое мглистое лицо бабушки Нины с завернутым вовнутрь, высохшим в строчку глазом, и курносое скуластое обличье моей матери, странно скособоченное, кривое, отчего ты невольно прыскаешь в кулак и торопливо двигаешь чашку под краник, а сам поглядываешь на тарелку, где лежат твердые лакированные сушки, похожие на уснувших рыжих щенят. Эх, невольно думается с завистью, – сколько бы я мог умять этих жилистых заварных калачей, а вместе с ними в мое безразмерное ненажористое мальчишечье пузцо влезло бы с десятков чашек чаю, и вся голубоватая на сколе искристая сахарная головенка, от которой мама откусила щипчиками по кусманчику сахарку и наделаила рукодано. Бабушка пьет долго, деловито, колупая от своего кусманчика единственным желтым зубом, прижимая сахарок, сострагивая лишь сладимую тончайшую пленку и сглатывая ее, и так же деловито смоктает зажарную баранку, а после шестой чашки укладывает обсосочек сахарку на край блюдца, переворачивает чашку вверх дном, вытирает сопревший лоб от легкой росы, и в который уж раз елозит гребнем в толстых, как проволока, волосах, высоко подрубленных сзади над оголенной морщинистой шеей. Бабушка смотрит на портрет сына Володи, растягивающего мехи гармоники, вздыхает, и на зрячий, пока единственный глаз накатывается скоро просыхающая слезка... Среди родных живет мнение, что бабушка Нина иссушила глаз по погибшему сыну. (Ей плакать никак нельзя, ибо может потерять и второй глаз.) И мама Тоня тоже вскидывает взгляд на мужа Володю, но уже ничего не говорит, потому что все давно высказано и добавить нечего. Мой, оставшийся на войне отец, и по смерти близит двух женщин и невольно делает их родными. У каждой горе свое, и утрата бесконечно, неутомимо точит, иссушает сердце, и наостряет взгляд ревностью. И невольно щемит обида; а почему так жестоко Господь наказал именно их, не помиловал, не помирволил. (Так я полагаю нынешним умом, а тогда, девятилетний щеня, я лишь хитро стрелял глазами по столу и по распахнутой двери, на которой парусила от летнего сквозняка занавеска, размышляя, как бы мне ловчее стянуть из тарелки баранку и улизнуть на улицу.)

Когда уж вовсе нечего было поставить на стол, мама нарезала черный хлеб ломтями, намазывала толченой картошкой, сдабривала постным маслом и, уложив стряпню на противень, совала в жаркую печь. Конечно, это не «картошные» шаньги, любимая еда поморянина, но поданные на стол прямо с пылу, они сметались в миг. Это было нечто промежуточное между настоящим печивом и непривередливой крестьянской стряпнёю, соображенной хозяйкою на скорую руку. Ведь госте простой ломотек не подашь к чаю, душевное неудобство не позволит; как бы нарушаешь тем самым неведомо кем и когда установленный порядок и чин. Сами-то мы пробавлялись до пятьдесят седьмого года тем, что Бог пошлет, но Всемиловитый посылал к столу так скудно, что мать по незатихающей гордости своей перед обедом запирала двери, чтобы соседи случайно не узнали, чем пробавляется вдовица. А часто бывала лишь запеченная на листе картошка, и смуглую кожуринку с золотистыми пятонышками усмиренного огня мать умудрялась каждый раз присолить слезами. Я отворачивался, только чтобы не видеть воспаленные до красноты веки, лазоревые глаза и распухшую от желез шею.

Ведь попросить – не украсть, но вот у матери, как раз язык-то и не поворачивался для просьбы, словно бы в него внедрялось вдруг раскаленное жало и вставало поперек горла. Одалживать в людях мама посылала меня, обычно за неделю до получки, и не по родне я бегал за помощью, задрав голову, но отчего-то стучался к учителям, кто начинали службу вместе с отцом и бережно хранили память о нем. Завидя мою скукоженную от мороза мордашницу, багровые руки в пипках, как бы вареные в кипятке, заледеневшие варежки, чудом

держась на кончиках пальцев, и вставшую колом пальтюшонку, они уже без слов знали, зачем я заявился ввечеру при ранней луне, когда от облитых таинственным светом высоких снегов встают в раскаленное небо голубые сполохи, похожие на призраки, а под угором, где начинается поскотина, уже пугающе дегтярный мрак, по дну которого прибрели к городку медведи и волки, уставя на меня вспыхивающие изумрудами глаза. Вот вспоминаю, и самого холодом обдает, так все близко, оказывается, неизгладимо, совсем рядом, – и причудливая под луною громоздкая тень от избы, занимающая половину улицы, и этот хрусткий скрип ступенек крыльца, и протяжливый взвизг уличных ворот, потемки коридора, когда вместо ручки торопливо нашариваешь кошму двери, чтобы ловчее потянуть на себя, и ослепляющий свет керосиновой лампешки из кухни. После морозного запаха снега и воли керосиновый дух резко шибает в нос; но это дух тепла, размеренной избяной жизни.

«Мама займы просила, – говорю я вздрагивающим от стужи голосишком, едва ворочая языком. – Ну хотя бы три рубля до получки.»

Хозяйка без слов уходила в горенку, не долго копалась в шкафчике и выносила денежку. Мать в должниках никогда не оставалась и деньги отдавала сразу, с получки, хотя по трешке, по пятерке набиралось порядочно. Но проходило дней десять, – и все повторялось.

Но зачем же только угрюмое, скорбное и печальное наискивать в голове; если лишь подобное носить в памяти, то загнешься от одних воспоминаний, как уловленная в Иордани наважка в крещенскую пору. Ведь было же, братцы мои, было и иное, осиянное, когда праздничный дух Пирогощи царевал в нашей боковушке.

Еще свежо в памяти: на воле темным-темно, выколи глаз, стеклина в толстом снежном куржаке, как во мху, а по убогому нашему житьишку волнами плывет хлебный сытный хмельной дух, – это квашня живет, дышит на самом верху печи-голландки в потемках, умудряется пускать на волю пузыри, хотя и плотно закутана в портище, чтобы не остыла. Как-то мать умудряется поднять кастрюлю на самую верхотуру, под потолок, ибо тут ей и самое место, только здесь и сохраняются жалкие остатки тепла. В этом закуте мать пробовала прятать от меня сахар, выданный по карточкам, но я, пролаза, ростом с валенок, скоро вынюхал схоронку и нанес провианту большой урон, а маме печаль и досаду.

Нет, братцы мои, это не нынешнее скорое городское печиво; наведет хозяйка в кастрюле скороиграющих дрожец, и уже через два часа можно стряпать. Пирог пышный родится, – пока горячие, – но так же скоро и упадают в теле, хиреют. Помню, мать-то за ночь не один раз вскочит, чтобы тесто посмотреть, подмешать мучицы, иль придавить его крышкою, чтобы не ушло вон. Проворонишь, да коли выплеснется через край квашонки и поплывет по печи, тогда хоть ладонями черпай, хоть ложкой заскребай.

А мороз, как из пушки палит, кряхтит изобка, оседая на пяты, но с третьими петухами вскочит мать с кровати, (сердце-то сторожит, как бы тесто не упустить) и, осторожно переступая через наши тела, разметававшиеся на полу, начинает тестяной ком нянькать, перекидывать с ладони на ладонь, да приколачивать, – вот так же только что выскочившее на белый свет дитя шлепают по заднюшке, чтобы очнулось оно и заорало «лихоматом». Вот и печка заскворчала, загудела, розовые лисы игриво выскочили из дверки на пол и давай поплясывать на студенном полу да сметываться алым заревом на оконницы. Батюшки мои, какой тут сон, когда от хлебного духа в носу свербит; вроде бы и дремлешь на одном глазу, но невольно ловишь дуновение запашистых сквознячков, и поставив уши топориком, с закрытыми глазами разбираешь, – ага, кочергой мать заворочала, разбивая головешки, выравнивая уголье по поду, потом загремела деревянной лопатой и противнем, заталкивая его в жар, и в это мгновение, кажется, весь мир замер, насторожился чутьисто. Не хлопают двери туда-сюда, впуская морозные хвосты, не бродит хозяйка по своим делам, но вот присела на табуретку, и вроде бы безучастно глядя на керосиновую пиликалку, сложив усталые руки в подол юбки, сама замерла и ждет, подгадывает, когда придет пора доставать из печи листы... И вот

ни с чем несравнимый пирожный дух поплыл по комнатенке, съехало с противня на стол румяное печиво, макая в жир (какой привелся) куропачьим крылом, смазывает мать стряпне огненные бока, накрывает полотенцем, чтобы приобмякла она. Вот в эту-то минуту и появляется на пороге Пирогоща, и давай тормошить нас, «засонь», дескать, протирайте детки глаза и садитесь за праздничный стол.

Если день субботний, то стряпает мать «каждоденное»: шаньги крупяные и заливные, или шаньги «картовные» и ягодники, шаньги творожные да колобки житные воложные, да пироги «капустенные», да колачи, да кулебяки с той рыбкою, какую Бог послал, только чтобы в тесте держалась, не уплыла. Это всё стряпня неуросливая, не требует от пекарихи особенного умения, к чему любая поморская женочка пристала с молодых ногтей. Но меня удивляет нынче, как это мама умудрялась стряпать в печи-столбушке (голландке), куда противешок влезает маленький, а пирогов на семью затеяно много.

Мезень – городишко хоть и старинный, исторический, но беззатейный, не фасонистый, но тоже со своей похвальбой; прозвище у мещан – кофейники, из веку пили кофе из самовара. Каждая хозяйка на Мезени могла печь многое: жилое – к чаю, сдобное – к кофию, одних тортов – двадцать сортов. Где-то на Руси были кожемяки и кузнецы, коневалы и ткачи, косторезы, кружевницы, пимокаты, древоделы, литейщики, сапожники, портные, плотники, а в Мезени до сей поры, – когда я пишу эти строки, – здравствуют пекарихи. «Стол-то как картинку сделают, умеют наряжать». И хвалилась хозяйка перед гостями не закусками и стоялыми винами, а печеным. «Мода была такая принята.» Но и в этом затейном рукоделии особый талант нужен; ведь одна мучка, да разные ручки. Потому на свадьбы и именины стол готовили званные пекарихи. Бабушка Нина все умела стряпать, а мама моя пекла только «каждоденное», но, конечно, пироги да шаньги из ее рук были самыми вкусными на свете. Об этих теплых пирожках часто вспоминал в письмах мой отец.

7

Помню, ехал я из Архангельска в Мезень на пароходе «Воронеж» по журналистской командировке; на нем когда-то я покидал родину, чтобы увидеть белый свет. Та же надраенная палуба, чуть скошенная назад огромная черная труба с красной «генеральской» лампасой, скамейки, принайтованные намертво, щедрое весеннее солнце плавится в воде, своим отражением залепляя глаза, море лосое, как зеркальце, ничто не колыхнет, не отзовется в нем на жаркие воздуха, лишь сонно покачиваются чайки-моевки, похожие на сетные поплавки; и вроде бабы те же, осадистые, щекастые, грудастые поморянки с ведрами и холщевыми сумками, забитыми городским продуктом, и прежние сухопарые голубоглазые мужики, слегка захмеленные, праздные, с тоскующим от вынужденного безделья взглядом. Может они и были, лишь на десять лет подзаветряли, присъежились, потускнели. Ведь, «старые старятся, а молодые молодятся».

Подле женщин на соседней скамье сидел одноногий бровастый старик в суконной кепке-восьмиклинке и все время подбивал деревяшкой по сапогу, выставив березовую култышку в мою сторону.

«Молодой человек, можно вас на минутку, если не посчитаете за оскорбление, – вдруг позвал он меня и спутницы с интересом уставились в мою сторону. Я подошел, отчего-то краснея.

«Вы сядьте, ноги не казенные, – старик пододвинулся, освобождая место. – Если для вас нетрудно и не почтите за назойливость, то ответьте, пожалуйста, на один интересный вопрос. Ваш отец, случаем, не деревенским учителем служил?»

Я кивнул.

«Дальше продолжу в том же роде. Может его звали Владимир Петрович Личутин, и служил он в Азаполье?»

Я снова кивнул.

«Ой, как вы схожи обличье-то! Смотрим, он или не он, боле некому. Вы уж не пообидьтесь, что потревожили вас.» Добрые женщины, они перебивали друг друга и каждой хотелось вставить словечко, глаза наливались быстрой слезой от воспоминаний.

«Ну будя вам, курицы. Налетели на мужика», – пробовал урезонить косоногий старик. Но куда там.

«Мы ведь учились у вашего татушки».

Я невольно прикинул их возраст и поразился, как быстро течет время; значит отцу было бы нынче за шестьдесят.

«Он некрасовитый был, но большой умница. Мамушку-то вашу, бывало, завсе на руках носил. Мы после школы провожали Владимира Петровича, он к себе домой и пригласит, а у вас полы в избы покрашены, печеных пирогов полон стол. Мамушка-то ваша рукодельница была. Уж завсе чай пить посадят. Сам-то учитель чай напусто пил, сахар прятал в железную коробку, копил, а после детям и раздаривал. Вот чаю-то с шаньгами напьемся, а после с горы на санках с нами. В сугроб-от закатимся, да падем, с головой зароемся в снег, смеху-то ой! После нас отряхает. Добрый был. Аня про него и стих сложила. Ты, Аня, не стесняйся, помнишь, как допирали до нас учителя, кто да кто сложил?»

Аня, худая и смуглая, как черкешенка, женщина, оберла губы уголком платка и прочитала нараспев:

«В Азапольской средней школе учит пять учителей;
Митрофанов, Епифанов, но Личутин всех добрей.
Митрофанов на кровати, Епифашка на печи.

Как грызут-то кирпичи, загибают калачи».

«Ну и ловка ты, Анка, – засмеялся старик. – У нас из века мода на деревне к сочинительству. – И уже обращаясь ко мне. – А папаша твой умник большой был, ой умник! Сейчас бы ему министром культуры быть иль выше куда. Помню, как роман „Война и мир“ на публику читал, дак не с месяц ли до ума доносил. Народу набьется, в избу-читальню не влезали. Такого свойства был человек, умел вовлекать и к нему все тянулись...»

* * *

Собственно с сапог все и началось тогда. Выдали обувь учителю по разнарядке. Зашла однажды Тося к тетке своей по нужде какой-то. Осень была, дождь с ночи не переставал, грязь непролазная. Глядит учитель, а у девочки сапоги развалились, каши просят. Что толкнуло парня в самое сердце, но только поспешил к себе в боковушку, а у сундука еще новехонькие, ни разу не надеванные сапоги хромовые стоят, только что наробраз выдал к учебному году. Глядятся, как любушки, голенище к голенищу, и через ушки серая бечевка пропущена. Схватил, в сенцы кинулся, а Тося уже за щеколду ухватилась, собралась уходить. Пихнул сапоги в руки: «На, бери». – «Не-не, Владимир Петрович», – испуганно отпрянула. «А ну бери, кому говорят», – прикрикнул сурово, перекинул ей через плечо, словно бы собрал девку в дальнюю дорогу, но чтобы зря не марать обувь в грязи, приказал покамест босиком идти.

«Бери, бери, не вводи меня в строгость», – и вытолкнул за дверь.

Вроде бы вдвоем перепирались в темных сенях, да и на улице пустынно было в осеннюю непогоду. Однако через неделю в районной газете «Маяк» появилась заметка: «Советский учитель-ударник В. П. Личутин из Жердской школы подарил на прошлой неделе сапоги лишенке Житовой А. С, чем опозорил великое звание народного воспитателя. Явно от тов. Личутина В. П. пахнет душком морального разложения. Надо покопаться поглубже в его происхождении и посмотреть, чей он человек и на чью мельницу льет воду. „Неподкупный“...»

Учитель прочитал навет, изорвал газетенку в клочья и от напраслины возведенной на него, стало ему дурно, из носа пошла кровь. (Мама рассказывала, что подобное с ним случалось часто. Видимо, отец был человек неврастенического склада, с туго заведенной сердечной пружиной.)

Быстро засветил коптилку, и крохотный светильничек робко пробил темь. Вгляделся в зеркало: измученное темное лицо, черное пятно крови на рубаше, похожее на неровную прореху. Рухнул на кровать, стал считать до ста, наковаленки в висках приутихли, утомонились. И тут в дверь внезапно, едва слышно, постучали, едва коснувшись кулачком о войлочную обшивку.

«Да кто там? Входите! Не закрыто! – крикнул с раздражением, едва приподняв голову с подушки и тут же захлебываясь кровью. Подумал: так можно когда-нибудь истечь, истаять, и никто не услышит, не спохватится. Дверь приоткрылась робко и раздался стеснительный голосишко:

«Простите, Владимир Петрович, это я.»

Голос прошелестел столь же бесплотно, как недавний стук в дверь. Но учитель уже узнал и его, и пристертое сумерками лицо с напряженно распахнутыми глазами. Он нервно вскочил с койки, не зная, что предпринять.

«Боже мой, что с вами? – изумленно спросила Тося и по-матерински, без тени неловкости, прохладной ладошкой прикоснулась к потному лбу. – У вас жар и кровь, Боже мой, вам плохо?»

«Нет-нет, что вы! Здоров и счастлив. Гули да гули, лапти обули. Даже шутить в состоянии, – рассмеялся учитель, и тут снова ударили в висках неутомимые кузнецы. Зажимая в себе стон, привалился к бревенчатой стене. – Вы пришли ко мне, как странно. Сновидение то или мираж? Сейчас я очнусь, и сиротливое одиночество больно обидит меня. Нет-нет, только не уходите. Я слышу даже, как сладко пахнет от вас ночными фиалками... Значит, вы услышали мой голос, мой зов донесся к вам?» – горячечно, выпренно вышептывал учитель.

«Это все из-за меня. Мне братан донес. Как-то все нехорошо получилось», – заикаясь от волнения и часто озираясь на дверь, повторяла девушка, боясь, что вдруг их застигнут врасплох.

«Я только что думал о вас, честное слово».

«Не говорите так. Вы смеетесь надо мной. Сейчас кликну тетюшку. Она мигом поставит вас на ноги».

«Никого не надо, только не покидайте. Они хотели оклеветать нас, глупцы. А мы пойдем рука об руку. Я так ждал вас, я одинокий человек, меня никто не любит. Мне так тяжело, поверьте».

Учитель было словно в горечечном бреду и плохо понимал, что говорит; бестолковые слова прорвали плотину, и сейчас он задыхался в них, не в силах найти самое нужное. Учитель боялся, что гостя так же неожиданно уйдет, как и появилась, потому торопился внушить девушке, что любит ее.

«Я не думал, честное слово. Я не знал, что так хорошо бывает. Я одинок был, поверьте».

«Как вы красиво говорите. Вы все придумываете, – Тося подала учителю влажное полотенце, и он вдруг стремительно прижался к ладони сухими шершавыми губами и стал часто целовать, опаяя дыханием руку и больно, цепко сдавливая ее. – Отпустите, прошу вас. Как стыдно-то, – бормотала она, вся дрожа. – Мы ведь не ровня. Вы всё делаете, чтобы подсмеяться над бедной деревенской девушкой».

Тут в сенцах гулко хлопнула дверь, видно с хозяйской половины кто-то вышел, Тося очнулась от наваждения и выбежала вон.

В газету «Маяк» жердский учитель Личутин послал объяснение: «Вашу заметку касательно выдачи сапог считаю необоснованной ни на чем. Во-первых в прошлом году Жердская школа, а также школы всего сельского совета не занимались распределением сапог. Одна партия сапог (4 пары) с разрешения сельпо и сельского совета были выданы учителям и сторожу, в числе которых одна пара попала и мне, как учителю. И ношу я их сам, или кто другой, никому до этого дела нет, так как я вторых сапогов не получал... Интересно бы узнать, кто написал эту заметку про меня.»

* * *

Деревенский учитель подкарауливал Тосю и, словно заранее сговорившись, они молча уходили за деревню, забирались в древнюю заброшенную мельницу с поникшими крыльями и напряженно, настороженно сидели в углу клетки, пропахшей мучной пылью, дожидались, когда догорит и погаснет день, и опустится на ближние запольки, пожни и навины стылый октябрьский вечер. И когда станет зябко и дрожко, можно будет, словно бы прижимая девушку, скинуть с себя пальтоху и, неловко прижимаясь, накинуть на плечи Тосе, и, будто бы невзначай, забыть ладонь на ее спине, слыша, как напрягается она и начинает смущенно ускользать прочь, а тогда, настигая и уже балуясь, словно бы понарошке прижать девчонку к себе до томительной слабости во всем теле и шептать задышливым от волнения и страсти голосом: «Любовь не похожа ни на что на свете, – Тонюся. Она появилась на земле весенней ночью, когда юноша видел одни глаза, одни глаза. Я ведь тоже видел только одни твои глаза

и ошалел. Смотрел и не мог оторваться. А он, тот юноша, целовал уста, и ему казалось, что два светила столкнулись в его груди.

Девочка молчала, словно бы настороженно прослушивала каждое слово или вглядывалась в себя, в свою зреющую для любви душу.

«Нет, нет, я ведь некрасивая, не пара я вам, Владимир Петрович. Ублажите вы меня словами да и бросьте.» – И вдруг решительно сбрасывала с плеч учительскую тощую пальтошку и убегала в деревню, и уже из тьмы, с пашенной межи, из зарослей можжевельника кричала пронзительно: «Не надо, больше не надо, не приходите!».

Несколько дней Тося Житова пряталась от учителя, завидев его на улице, стремглав кидалась в дом и запиралась на вертлюги и засовы. А на сердце учителя теперь жила постоянная тоскливая ревность, доходящая от смертельного отчаяния; теперь ему часто представлялось, что у Тоськи есть кто-то другой, с кем она милуется вечерами, нашептывая сопернику сладкие слова. Уж какие тут уроки, какие тетради – все забылось, летело прочь, попав под горячую руку. Учитель бродил вокруг избы Житовых, как закодленная лошадь, вглядываясь в занавешанные окна, далеко за полночь просиживал на изгороди, пугая в предзимней темени прохожих. Так прошла зима, а ранней весной в Жердь приехал из Мезени духовой оркестр, в избе-читальне сбилась вся молодежь, охочая до танцев, а в углу среди стариков и старух, как нахохленный воробей, сутулился учитель, разглядывая веселых, потеющих от кадрилей девок. Он не умел плясать и потому всегда прятался за людские спины, мучительно завидуя обнахалившимся деревенским ухажерам, которые небрежно выхватывали девок из толпы, а после тискали и мяли в пляске. Сияла медь начищенных труб, от багровых музыкантов валил пар, и тарелки ударника выбивали оглушающие громы, особенно возбуждая молодежь. Но вот и духовики утомились; курили тайком, спрятав носогрейки в рукав, тут завелась тальянка, и понеслась по затертому полу деревенская вихревая топотуха.

Рыжий плясун вдруг выкрикнул на потеху публике:

У Ермаковых овцы вышли,
Мы не будем заставать.
Пускай Личутин любит Тоньку,
Мы не будем ревновать..

Тут выскочила в круг Тоська Житова и, сделав руки на груди кренделем, пошла мелкой поступочкой, подманивая рыжего:

Оя-ой, какая грязь,
Калоши наливаются.
Было с осени отказано,
Опять гоняется.

Учителя словно небесным пламенем опалило, так вспыхнул он вдруг до корней волос. Показалось, что весь зал раскололся от оглашенного смеха; ржали красномордые охальные парни, тонко хихикали потные грудастые девки, а пуще всех с прогибом назад заливалась Тоська.

Учитель выскочил в круг, больно схватил девушку, подернул к себе, словно бы готовый ударить с разворота, легкий хмель от недавно выпитой браги вдруг ударил в голову и оглушил. И уже теряя разум и смысл происходящего, учитель закричал, перекрывая смех: «Знай, Антонина Семеновна! Они вырыли мне яму, а ты накрыла ее камнем!»

С того вечера не виделись больше месяца. Учитель вскоре опомнился, загрустил, так и эдак подступался к девчонке, но та каждый раз наубёг и дверь на замок; лишь однажды удалось подстеречь, притиснуть к изгороди:

«Вы зря, Владимир Петрович, мучаете себя и меня. Перед народом стыдно. Зачем преследуете, ведь ничего из этого не выйдет.»

«Тося, но я же люблю тебя», – осекшимся, пересохшим от тоски голосом почти простонал учитель.

«И не любите вы меня, Владимир Петрович. То выдумка ваша. Вы только себя любите, чтобы вашей душеньке было хорошо.»

«Неправда, Тосенька, неправда. Ты свет моей жизни, ты лучезарная звезда. Мне ничего не надо для себя, я только хочу видеть людей счастливыми.»

«А меня тогда за што обижаете? Што я вам такого плохого сделала?»

«Ну прости меня, прости», – подавляя в себе гордость, учитель готов был встать на колени в весеннюю жидкую грязь на виду у всей деревни.

«И ни к чему всё это. Прощайте». – И ушла. Со спины ничего красивого, ватная коротковатая пальтюшка, из куцых рукавов вытянулись тонкие белые запястья юницы, еще девочки, смазные бахилы выше колен, наверное братневы. Господи, было бы на что глядеть-то, но ведь так больно зацепила сердце острою, что закровило оно, застонало вослед: «То-ся-я, вернись!»

Вечером написал карандашом умоляющее письмо и попросил Аниську Житову передать сестре:

«Тося, кто из нас прав и кто виноват? Я большую часть вины кладу на себя, но и ты в избе-читальне сотворила что? – в глазах людей бросила вызов нашей любви. Если я пьяный поступил с тобой грубо, то ты тоже меня можешь, как хочешь, оскорблять, но только не при народе. Ах, как тяжело переносить всё тебе, но и мне теперь тяжело. Когда остаются последние дни до полумесяцовой разлуки, ты желаешь лучше ходить по улицам одна, чем последние дни провести со мной.

Я первый хотел искупить вину. Я первый подошел к тебе с мольбой выйти и выяснить дело, но ты не пошла и после так грубо поступила со мной, что когда я сижу и пишу эти строки, то мне не верится, что это было вправду. Да, я был побит тобой и так побит, как никогда в жизни. И это тогда, когда я ищу человека, который бы понял мои страдания в жизни, облегчил бы мне искренним словом дружбы мою незавидную жизнь, полную печалей, но я в тебе, как в друге, встретил отвращение ко мне. Я перенесу, да и как мужчине не перенести. Позор. Виной всему моя ревность, я боюсь оставить тебя одну. Я хочу, чтобы ты принадлежала только мне. Вот из-за этого я напился. Из-за этого я грубо поступил с тобой.

Тося, любовь, которую я к тебе имею, у меня не погасла, я теперь, как никогда, чувствую, как что-то оторвалось от сердца, и так тяжело мне стало, так тяжело. Охота плакать, хоть успокоиться, но ведь и слез не стало. Стал я жестокий, и стал я грубый. Правильно ты меня тогда обозвала, «что ученый человек, а так со мной поступаешь».

Тося, прости. Вспомни наши страдания, и ты поймешь, что я тебя и не думаю бросать, а наоборот, я у тебя прошу прощения. Приди, Тосечка, и напиши с Аниськой хоть словечушко, придешь или нет. Еще раз прости за все, что совершил».

Ни ответа от девушки, и сама нейдет. Поплелся учитель к желанной, вроде бы нехотя протаскивая ноги, тяня время, почасту оглядываясь назад: думалось, что Тоська вот-вот вытаится из темени, и вся размолвка счастливо сотрется сама собою. Но как ни тянул время, за считанные минуты оказался возле избы Житовых. Учитель, как петух, уселся на изгороди, не сводя навязчивого угрюмого взгляда с темных окон. За речкой на вересовых холмушках пикинула гармошка, кто-то пропел частушку, ее перебил захлебистый смех. Несколько раз учитель порывался к двери, чтобы выбить ее ногою, выставить из петель, всполошить всю

деревню, но боязнь держала на месте: вот откроется дверь, появится Тоська и выплеснет последние приговорные слова. Уже за полночь было, когда раздались на повети шаги, приоткрылась дверь, учитель прянул с изгороди, подался к взвозу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.